ЦВЕТ ЛИТЕРАТУРЫ



Майкл ОНДАТЖЕ

Дивисадеро

The Booker Prize

Лауреат Букеровской премии

АЗБУКА

Дивисадеро
Майкл Ондатже

Аннотация
Майкл Ондатже. Дивисадеро
Часть первая. Анна, Клэр и Куп
  Сирота
    ~~~
    ~~~
    ~~~
    ~~~
  Красное и черное
  Le Manouche
  Из прошлого
    ~~~
    ~~~
  Личность, прежде известная как Анна
  Споткнуться об имя
    ~~~
    ~~~
  ___
Часть вторая. Семейство в повозке
  Дом
  Астольф
  Поездка

Две фотографии
Часть третья. Дом в Демю
Марсейян
Приезд
Большой мир
Пес
Издевки и посиделки
Billet-doux
Ночная работа
Свойственники
Буа-де-Мазер
Поля
Раздумье
Война
Побывка
Возвращение
Попрощайся

Аннотация

Впервые на русском — новый роман от автора «Английского пациента», удивительного бестселлера, который покорил читателей всех континентов, был отмечен самой престижной в англоязычном мире Букеровской премией и послужил основой знаменитого кинофильма, получившего девять «Оскаров». Снова перед нами тонкая и поэтичная история любви, вернее — целых три истории, бесконечно увлекательных и резонирующих на разных уровнях. Их герои вырваны из совместного прошлого, но сохраняют связь друг с другом, высвечивая смысл того, что значит быть в семье или одному на всем белом свете. Повествование пропитано идеей двойника, двух личностей в одной оболочке, и потому калифорнийская ферма находит свое отражение в старой французской усадьбе, события Первой мировой перекликаются с телерепортажами о войне в Персидском заливе, а карточный шулер будто сливается с цыганом-гитаристом по ту сторону Атлантики…

Майкл Ондатже
Дивисадеро

Джону и Беверли,
а также светлой памяти Креона Кореа,
для нас оставшегося «Эджели»

Порой, когда я лежу в твоих объятьях, ты спрашиваешь, в какое время я бы хотела жить. И я отвечаю: в Париже, в те дни, когда умерла Колетт…[1] *Париж, третье августа 1954 года. Чуть погодя состоятся пышные похороны, ее могилу укроет тысяча лилий, и я хочу быть там, чтобы бульваром с мокрыми липами пройти к Пале-Рояль и постоять под окнами ее апартаментов на втором этаже. Сердце мое полнится историями о людях, подобных ей. Она говорила, что как писатель обладает лишь одним достоинством — сомнением в себе. (Говорят, за пару дней до ее смерти Жан Жене*[2] *ее навестил, однако ничего не украл. Ах, учтивость великого вора…)*

«Искусство дано нам для того, чтобы мы не погибли от правды» — сказал Ницше. Безжалостная правда случая нескончаема, история Купа и жизненные мытарства моей сестры для меня бесконечны. Каждый раз, когда глубокой ночью вдруг зазвонит телефон, я хватаю трубку и жду, что сейчас услышу голос Купа или тяжелый

---

[1] Примечания: 1

Сидони-Габриэль Колетт (1873–1954) — французская писательница, звезда «прекрасной эпохи». *(Здесь и далее прим. перев.)*

[2] Примечания: 2

Жан Жене (1910–1986) — французский писатель, поэт и драматург. В России известен главным образом по пьесе «Служанки» и автобиографическому роману «Дневник вора».

вздох, после которого объявится Клэр.

Ибо я отняла у них ту, что некогда была мной и жила с ними. Тогда меня звали Анна.

Часть первая
Анна, Клэр и Куп

Сирота

~~~

Перед дедовой хижиной на высоком взгорке, что смотрит на склон в зарослях конского каштана, укутанная в толстое одеяло Клэр садится в седло. Накануне вечером она растопила очаг и заночевала в хибарке, которую давным-давно выстроил наш предок, отшельником поселившийся в здешних краях. Самостоятельный холостяк, дед завладел всей окрестной землей, что открывалась его взору. В сорок он вяло женился и произвел на свет одного сына, которому оставил ферму у дороги на Петалуму.

Клэр медленно едет по гряде над двумя долинами, затянутыми утренним туманом. Слева от нее побережье. Справа — путь к городкам в дельте Сакраменто, таким как Рио-Виста, оставшимся после золотой лихорадки.

Сквозь белое марево Клэр направляет коня вдоль толпящихся деревьев. Последние двадцать минут она чувствует запах гари и на окраине Глен-Эллена видит объятый пламенем городской бар — поджигатель из местных запалил
~~~

его спозаранку, когда он наверняка пустовал. Не спешиваясь, Клэр издали наблюдает. Конь Вояка редко позволяет оседлать себя дважды, его можно одурачить лишь раз в день. Наездница и животное не вполне доверяют друг другу, хотя конь — ближайший приятель моей сестры. На какие только ухищрения она не идет, чтобы он не дыбился и не взбрыкивал. Клэр возит с собой полиэтиленовые пакеты с водой, которые шмякает о шею коня, и тот ненадолго успокаивается, полагая, что истекает кровью. В седле Клэр избавляется от хромоты и похожа на кентавра, повелителя вселенной. Когда-нибудь она встретит другого кентавра, с которым обвенчается.

За час бар сгорает дотла. Он всегда был рассадником драк, и даже сейчас на улице возникают стычки — вероятно, во славу знаменательной вехи. Клэр бочком подъезжает к земляничному дереву со склизкой коралловой корой, съедает пару ягод и, минуя пожарище, направляется в городок. С громоподобным грохотом обрушиваются последние балки, и она понукает лошадь прочь от этого шума.

На пути домой Клэр проезжает виноградники, где доисторического вида вентиляторы гонят теплый воздух, не давая лозе замерзнуть. Десять

лет назад, в пору ее юности, тепло создавали дымовые горшки, тлевшие всю ночь.

Обычно по утрам мы входим в темную кухню, где каждый молча отрезает себе толстый ломоть сыра. Отец выпивает чашку красного вина. Затем мы идем в коровник. Куп уже там — граблями ворошит грязную солому, и мы приступаем к дойке, уткнувшись головами в коровьи бока. Отец, две его одиннадцатилетние дочки и батрак Куп, который чуть старше нас. Еще никто не проронил ни слова, слышны лишь звяканье бадей и скрип ворот.

В ту пору Куп басовито бубнил себе под нос, точно сомневаясь в словах. Вообще-то он растолковывал себе все, что видит: свет в коровнике, куда приспособить очередную жердь, какую курицу отловить и зажать под мышкой. Мы с Клэр прислушивались. Тогда Куп был душа нараспашку. Мы смекнули, что его неразговорчивость продиктована не желанием отгородиться, но опаской перед словами. Знаток вещественного мира, там он был нашей защитой. Но в мире слов он становился нашим учеником.

Почти все время мы, сестры, были предоставлены сами себе. Отец растил нас один и был слишком занят, чтобы вдаваться во всякие тон-

кости. Он был доволен, когда мы хлопотали по хозяйству, и легко ярился, если вдруг не мог нас найти. Мы росли без матери, и все наши жалобы и тревоги выслушивал Куп, разрешая нам покривляться, когда чувствовал, что мы к тому расположены. Отец смотрел сквозь Купа. Он готовил из него работника, и только. Но Куп зачитывался книгами о золотых рудниках на северо-востоке Калифорнии и стоянках старателей, которые, всем рискнув, на речной излучине намыли богатство. Конечно, во второй половине двадцатого века он на сотню лет припоздился, однако верил, что в реках, кустовых пустошах и лесистой сьерре еще сохранились залежи золота.

На высокой полке в прихожей я нашла книжицу в белом переплете. «Беседы с калифорнийками: от древности до наших дней». Большинство женщин были неграмотны, и потому архивисты из Беркли пользовались магнитофоном, дабы зафиксировать их жизни и обстановку прошлого. Монография охватывала период с начала девятнадцатого века до современности: от «Рассказа донны Юлалии» до «Рассказа Лидии Мендес». Лидия Мендес — это наша мать. Именно книжка представила нам женщину, умершую в то время,

когда мы с Клэр родились. Из нас троих лишь Куп, с малолетства работавший на ферме, видел ее живой. Для нас с Клэр она была слухом, призраком, изредка поминавшимся отцом, незнакомкой, кому в брошюре уделили несколько абзацев, лицом на выцветшей черно-белой фотографии.

Книга передает покорность людей, считавших, что история творится где-то вокруг, но не среди них. «Мы выросли на Центральной равнине, что к северо-востоку от Лос-Анджелеса, где мой отец добывал асфальт. В восемнадцать я вышла замуж, всю ночь мы отплясывали под оркестры, в которых, говорил муж, лучшие в округе скрипачи и гитаристы. На пастбище возле здоровенного валуна соорудили свадебный стол. Тридцать лет назад мой свекор приехал в Сан-Франциско и, говорят, в тот же день сел на пароход до Петалумы, где выстроил этот дом. Когда я сюда перебралась, они держали тысячу несушек. Но муж не хотел на ферме чужих рук, и мы оставили только молочную скотину да еще сажали кукурузу, — кур-то лисы душили, замаешься охранять. В горах водилось всякое зверье — рыси и койоты, меж секвой шныряли гремучие змеи, а раз я видала пуму. Но самая напасть — это чертополох. Вот уж с ним намучились. Соседи никогда толком не прополют,

так ихние семена летели к нам.

Неподалеку один фермер держал сотню коз, хороший человек. Бывало, пригонит их на наши поля, чтоб съели чертополох… такие особые козочки, они, знаете, вчистую переваривали семена. Корова так не может. Она сжует чертополох, а семена-то из нее выходят целехонькие. Вот уж душа-человек для тех, кому чертополох не по нраву… Однажды по соседству случилось страшное зверство. Батрак доской насмерть забил семью Куперов. Поначалу никто не знал, кто ж такое сотворил, но ихний мальчонка спрятался в подполе и сколько-то дней там просидел. Четыре годочка ему было, потом он вылез и все рассказал. Мы его к себе взяли, чтоб у нас жил и на ферме работал».

Вот и весь образ матери, какой нам достался. Все другие ее мысли и чувства пребывают в безмолвной дали. Она поведала о случайных событиях, и нам известны лишь ее приязнь к козопасу, мимолетный восторг от танцев и подробности убийства на соседской ферме, после которого Куп оказался в нашем доме. Но ничего о ее радостях, смышлености, сострадании — о том, что, вероятно, было путеводной звездой для нашего отца. Всего лишь две странички о «калифорнио», что

двадцати трех лет умерла в родах.

В белой книжице ничего не сказано о странном поступке отца, в хаосе женином смерти неофициально удочерившего девочку, мать которой тоже умерла в той же больничке; он забрал домой обеих малышек и второго ребенка, получившего имя Клэр, растил как своего собственного. Вот так появились две девочки, Анна и Клэр, родившиеся в одну неделю. Обеих считали его дочками. Вот на какой поступок сподвигла нашего отца кончина Лидии Мендес. У покойной матери второго ребенка не было ни родичей, ни мужа; видимо, это и повлияло на отца. Грубо говоря, лазарет на окраине Санта-Розы задолжал ему жену и был обязан чем-то расплатиться.

Бывало, отец, как всякий родитель, нас приласкает. Но для этого надо было поймать его на ничейной земле между усталостью и дремой, когда он вроде как забывался. Я подлезала к нему на покрытый пледом старый диван и собачонкой сворачивалась в его объятьях, подражая его измученности зноем и тяжкой работой.

Иногда Клэр пристраивалась рядом, если не желала оставаться в одиночестве или боялась грозы. Я же хотела просто уткнуться лицом в его ковбойку и притвориться спящей. Вдыхание взрослого

запаха казалось греховным, но правомочным блаженством. Днем подобное было немыслимо, отец бы нас отпихнул. Несовременный родитель, воспитанный по немногим мужским правилам, теперь он не имел жены, которая оценила бы и смягчила его принципы. Вот и приходилось подлавливать его в сумеречном состоянии, когда на клетчатом диване он слегка размякал, обнимая прижулившихся девочек. Закрытые веки его трепетали — знак усталости, которая куда-то его утаскивала, словно речной буксир. Потом и я засыпала, достигая теснейшей близости к нему. Отец, который это позволяет, всю жизнь должен тебя защищать, думала я.

Более века назад, в августе 1849 года, кучка старателей разбила лагерь в долине, что в сотне с лишним миль к северу от Петалумы. Выстроив хижины, они назвали свое поселение Барсучий Холм и стали искать золото. По колено в ледяной воде, двадцать мужиков промывали лотки и едва не капитулировали перед грянувшими зимними бурями. Однако не прошло и полгода, как на участке, впоследствии получившем название Грасс-Вэлли (Травяная Долина), обнаружился кварц в золотых прожилках. Там выросла сотня кособоких гостиниц, на постоянно обновляемых

картах запестрели чудные названия рудников: Бурда, Белая Горячка, Фальшивый Гром, Адское Наслаждение, Погост, Одинокий Джек, Богатый Чертяка, Непревзойденный, Серебряная Вилка, Конь-Качалка, Султанша. Без провианта застрявшие в горах мужчины поневоле становились охотниками, из дробовиков и револьверов паля в куропаток, рогатую скотину и медведей. Мясные лавки росли как на дрожжах. Пароходы курсировали вглубь континента аж до Фетер-ривер. Прибыла многоголовая культура. Шулеры, торгаши водой, наемные стрелки, проститутки, мемуаристы, кофеманы, целовальники, поэты, героические собаки, невесты почтой, женщины, влюблявшиеся в подданных госпожи-удачи, старики, перевозившие самородки в желудках, воздухоплаватели, мистики, Лола Монтес,[3] отменные и паршивые оперные певцы, блудившие направо и налево. От динамитных взрывов на крутых склонах сотрясалась земля. Тоннели под Айова-Хилл достигали семнадцати миль. Сгорела Сонора. Сгорел Вивервиль. Сгорели Шаста и Колумбия. Они были заново отстроены, опять со-

[3] Примечания: 3

Лола Монтес (Элизабет Розана Гилберт, 1821–1861) — уроженка Ирландии, знаменитая исполнительница экзотических танцев, куртизанка, любовница баварского короля Людвига.

жжены и вновь отстроены. Наводнение затопило Сакраменто.

Через сто лет, ко времени одержимости Купа, пять тысяч старателей еще будут день-деньской ковыряться на берегах Юбы и Русской. В сьерре они отыщут старые поселения, именованные в честь возлюбленных, собак и персонажей романов; эти названия — временная капсула жажды новой жизни. «Непревзойденный»! В каждой крохотной точке, отмеченной на картах, что-нибудь да происходило. Вот на этом речном берегу два брата убили друг друга, поспорив, в какую сторону идти. Вот на этой опушке женщиной расплатились за участок. Похоже, здесь за каждым поворотом притаилась бальзаковская новелла.

Нынче старатели приезжали в трейлерах, тягавших бензиновые драги, которым надлежало высосать все, что осталось на речных доньях. За столетие наводнения и бури вытрясли золотишко из его доисторического ложа и сплавили в реки. Рудокопы в гидрокостюмах прочесывали потоки, разгоняя подводную тьму гигантскими чанами света.

Все, что касалось золота, противоречило жизни Купа на нашей ферме. Наверное, он все еще помнил свою безродность и ужасную смерть

родителей, о которой никто из нас никогда не заговаривал. Он так освоил обычаи и обязанности сельского бытия, что с закрытыми глазами мог добраться до дедовой хижины на горной гряде, безошибочно ориентируясь по шуму ветра в деревьях, словно разгуливал в тихом доме. Земля была очищена от камней и валунов, доски кухонного стола добела выскоблены, ворота фермы замкнуты на цепь, а потом открыты, замкнуты и открыты… Но золото являло собой пьянящий шанс, не подвластный логике предмет и невероятную историю, в которой есть убийство, обознатушки и любовное приключение. Два часа промаявшись на попутках, шедших из Колфакса в Айова-Хилл, Куп добирался до северной развилки реки Русской и глазел на работяг с горным инструментом. Ему было семнадцать, когда за гроши и возможную премию он сгоряча подрядился работать на всасывающем шланге. В конце недели Куп вернулся домой скособоченным. Нам, его любопытным слушательницам, он ни словом не обмолвился о том, где был. Но мы видели, что он как-то изменился, побывав в переделке.

Ухватив шланг, он плюхнулся с плавучей платформы и нырнул ко дну. Через секунду застрекотал генератор, и оживший шланг, который

Куп пытался нацелить под валуны — предположительный схрон золота, — стал мотать его из стороны в сторону. Временами реактивный рукав увертывался от очередной порции песка и, оседланный Купом, выскакивал на поверхность, после чего шмякал седока о твердую водную гладь и вновь утаскивал на глубину вместе с водолазным шлемом (стекло-кожа-металл), грубо корябавшим шею, и хилой, не внушавшей доверия воздушной трубкой.

В темной кухоньке фермы Куп пытался об этом поговорить, однако ни на шаг не продвинулся в том, чтобы поведать о своем нелепом и опасном приключении. Мы так и не узнали, что с ним случилось. Помню, мы распевали: «У Купа зряшная неделя, зряшная неделя! Куда он ходил? С кем был? Что за дамочка его так измотала?»

Под нескончаемыми зимними дождями плавный перекат холмов зеленел, а за лето и осень крепко подрумянивался. Возвращаясь из Никасио, мы взбирались на гребень холма и резко сворачивали на бежавший вниз узкий грязный проселок, который через четверть мили выходил к коровникам, и тогда машину подкидывало на тракторных покрышках, для ограничения скорости костылями приколоченных к земле. Став

постарше, мы с Клэр начали ездить в Глен-Эллен на вечеринки, и когда, полусонные, возвращались домой, наши переполненные пузыри проклинали эти покрышки. У темного подножья холма приходилось останавливаться. Мой черед, говорила я, в своем новеньком хлопчатом платье и тесных туфлях выбираясь из машины, чтобы отпихнуть с дороги чрезмерно дружелюбных бодрствующих мулов.

Как сестры, мы друг другу подражали и соперничали, а Куп был нашим совместным идолом. На закате его отрочества мы обнаружили, что у него есть и другая жизнь: он пропадал в городских бильярдных и танцзалах, поспевая вернуться к сроку, чтобы отвезти Клэр в Никасио на урок музыки. Сестра любовалась его худыми загорелыми руками и тем, как он работает сцеплением, плавно, будто сквозь воду, беря повороты и одним движением баранки выравнивая машину. Ее покоряла легкость, с какой он управлялся со всем, что его окружало. Через год, забирая Клэр с урока, Куп бросил ей ключи, а сам пересел на пассажирское сиденье и уткнулся в книжку, которую достал из бардачка; Клэр напрочь растерялась и, повизгивая от страха, рулила вдруг ставшей огромной машиной: дорожным серпантином

поднялась на гребень холма, а затем по склону скатилась к ферме. За весь путь Куп ни словом не обмолвился и лишь раз через боковое зеркало глянул на обескураженного мула, которого едва не задели. С тех пор Клэр одна ездила на музыкальные уроки. Куп же невозмутимо забрасывал на плечо сенной тюк и шел в коровник, свободной рукой поджигая самокрутку.

Иногда мы с Клэр выключали фары и съезжали с холма в кромешной тьме. Или же ночью через окно спальни выбирались на улицу, навзничь ложились на огромный валун, еще хранивший дневное тепло, болтали и пели. Мы считали секунды между росчерками метеоритных дождей, вдоль полосовавших небеса. Когда гром сотрясал дом и конюшню, в коротких вспышках молнии я видела Клэр, которая, точно нервная гончая, столбиком сидела в кровати и, шумно дыша, крестилась. Бывало, она днями не расставалась со своей лошадью, а я с книгой. Но тогда еще все было общим. Бар в Никасио, Друид-Холл, киношка «Себастьяни» в Сономе, экран которой напоминал переменчивую от бликов гладь водохранилища, сотня с лишним дроздов, что перед грозой усаживались на телеграфные провода и оглушительно щебетали. В феврале был пурпурный цветок,

прозванный «Падающая звезда». Были срезанные ивовые ветки, которыми Куп зашинировал мое сломанное запястье, перед тем как отвезти меня в больницу. Мне было четырнадцать. Ему восемнадцать. Все биографично, говорит Люсьен Фрейд.[4] Что мы делаем, почему это делается, как мы рисуем собаку, к кому нас тянет, отчего мы не можем забыть. Всё коллаж, даже генетика. В нас незримо присутствуют другие, даже те, кого мы знали недолго. До конца жизни мы носим их в себе, вместе пересекая каждый рубеж.

По правде, кто такой Куп? Мы не знали, какими были его родители. Не могли сказать, как он относится к нашей семье, которая его приютила и уготовила ему иную жизнь. Он наследник убийства, находившийся на грани исчезновения. Подростком он был нерешителен и молчалив. Потягиваясь, точно амбарный кот, на рассвете он выходил из сарая, будто дрых там дни напролет, хотя на самом-то деле часа три-четыре назад вернулся из сан-францисской бильярдной, одолев сорок миль на попутках. Уже тогда я думала,

---

[4] Примечания: 4

Люсьен Майкл Фрейд (р. 1922) — британский живописец австрийско-еврейского происхождения, внук психоаналитика Зигмунда Фрейда; специализируется на портретной живописи и обнаженной натуре, один из самых дорогих современных художников.

как он уцелеет и проживет в будущем. Вот: что-то бормоча под нос, он разбирает трактор или приваривает «бьюику» радиатор с брошенной машины. Всё коллаж.

Где-то есть альбом наших с Клэр фотографий, снятых отцом и фрагментарно представляющих наше взросление: от беспечных поз до диковатых самодовольных взглядов, когда наши физиономии уже обретали свой истинный ландшафт. Съемка всегда проходила в конце декабря, между Рождеством и Новым годом; нас гнали на пастбище неподалеку от россыпи камней (где похоронена наша мать) и запечатлевали на черно-белой фотографии. Отец требовал благопристойной одежды, но со временем Клэр стала являться в потрепанных джинсах, а я оголяла плечико, отчего возникали двадцатиминутные препирательства. Отец не видел в этом ничего смешного. Он нуждался в сем ежегодном ритуале, которому вместе с тщательно накрытым столом надлежало высветить прошлое.

Мы изучали себя в том эволюционирующем портрете. Он породил в нас тайное соперничество. Одна похорошела или же замкнулась, другая стала скромницей или же анархисткой. Скажем, на одном снимке Клэр пригнула голову, чтобы

скрыть шрам. Несмотря на почти всегдашнюю неразлучность, к своим окончательным версиям мы шли порознь. На последней фотографии, где нам шестнадцать, наши лица проглянули вполне откровенно. Чуть позже я вырву этот снимок из альбома.

Клэр вспоминает: насвистывая, она вошла в темную конюшню и потянулась за уздечкой, но тут где-то звякнуло опрокинутое ведро. В стойлах ведра не оставляли, стало быть, в конюшне кто-то был либо отвязалась лошадь. С уздечкой в руке Клэр хромоного шагнула в проход. Никого окликать не стала. Выглянула из-за угла и в безмолвной темноте конюшни увидела меня, распростертую на полу. Едва она ко мне подошла, как ее сшибла лошадь, шумно выскочившая из тьмы.

До сих пор в наших воспоминаниях о происшествии остается провал. Мы лишь сознаем, что произошло нечто важное. Мы пытались сложить кусочки в целое, но Клэр лишь помнит, что, насвистывая, вошла в конюшню, а дальше — только цветовые блики, которые вот-вот превратятся в картинку. Секунду она смотрела на меня, а затем ее сбила вылетевшая из темноты лошадь, которая перед тем снесла меня, и Клэр отключилась.

Возможно, сознание в нас слегка теплилось, когда мы неподвижно лежали на бетонном полу, ибо все вокруг стало ярким, точно в кошмаре, и мне казалось, что беззвучные удары копыт о бетон высекают искры и пламя. Оскальзываясь на соломе, обезумевшее от темной тесноты животное металось взад-вперед по всей длине прохода, лягало стены и билось грудью в закрытую дверь, дико кося глазом и судорожно поводя боками. Были мы в сознании или отрубились? Может, угодили в мир духов, не понимая, живы мы или мертвы?

Когда Клэр открыла глаза, я сидела в паре ярдов и квело на нее пялилась. Не было сил встать, я не понимала, что произошло. Вокруг валялись сорванные доски. За нами никто не пришел. Свет в мутном окошке говорил, что наступило время ужина.

Этого коня Клэр ласково окрестила Воякой. Я смотрела на нее. Все лицо ее было в крови, но она сказала, что болят только руки. Нам было пятнадцать. Наконец пришел Куп; он нагнулся ко мне и назвал меня Клэр. На мгновенье Клэр смешалась — тогда кто она? Но она была Клэр, у которой кровоточащая рана под левым глазам превратится в тонкий шрам, похожий на подсох-

шую слезинку.

В той путанице между нами что-то произошло. Внезапно мы вступили в большой изменчивый мир взрослых, и теперь нам предстояло четко разделиться на Анну и Клэр. Стало важным, чтобы одну не воспринимали как сестру другой и тем более не путали. Отныне мы старались заполучить Купа в свое лоно. В последующие месяцы мы частенько заводили разговор об этом «случае». Между нами пролегла грань, чего не удавалось достичь на фотографиях, где мы всегда «под ручку». Думаю, альбом уцелел, и Клэр держит его на книжной полке. Если она его разглядывает, то может заметить, как мы расходились. В год, когда она обрезала волосы и отдалилась, в год, когда я смотрю шало и пристально и всё во мне тайна.

Почему отец никогда не снимал Купа? Видно, что на двух-трех его фотографиях опробовали экспозицию. Но было его размытое отражение в оконном стекле, была его тень на траве или коровьем боку. На скольких предметах можно запечатлеть свой образ?

Как бы то ни было, именно Куп тем вечером отыскал нас в конюшне, именно он обнял меня и выдохнул: «О господи, Клэр!», и я подумала: «Значит, я не Анна. Анна — та, другая».

~~~

Куп поселился в дедовой хижине. С высоты горного гребня он глядел на темные дубы и каштаны, за корявые ветви которых по утрам на час-другой зацеплялся туманный ледник. Ему стукнуло девятнадцать, он обрел желанное уединение. В одиночку перестроил хижину. Купался в холодном горном озере. Вечерами, проскочив мимо фермы, отправлялся в Никасио или Глен-Эллен послушать музыку. Иногда сядет за общий стол, но потом вдруг вскочит с куском хлеба в руке — и был таков, не сказав, куда и зачем. Сестры понимали, что их дни с Купом сочтены. Учтивый и необузданный, он исчезал почти каждый вечер. Возвращаясь, на вершине холма выключал мотор и неслышно скатывался к ферме, а затем вместе с тенью отшагивал полмили до хижины.

Куп сопровождал девочек в Никасио, когда те не унимались в желании послушать музыку. На танцы Анна и Клэр наряжались в платья из Сан-Рафела, а затем в баре классифицировали мужчин, словно сидевший рядом Куп принадлежал к иной особи. Тот беззвучно посмеивался и, сохраняя дистанцию, почти не разговаривал.
~~~

По правде, кто такой Куп? — спрашивали себя девочки. Однажды через час после его ухода они последовали за ним и отыскали его в Никасио в сутолоке тесного танцзала. Танцор из него был никудышный, но девушки утыкались в его шею, их изящные каблучки соседствовали с его башмаками в коровьем навозе. «Да уж, ковбой», — хмыкнула Анна. Не желая разрушить чары, сестры улетучились, прежде чем Куп разглядел их в толпе.

Как старший, он оставался эмоциональным посредником и толмачом в отношениях девочек с отцом, исполняя умиротворяющую роль матери. Она не подходила его характеру, и, видимо, желание от нее избавиться подтолкнуло его к переселению в хижину. Для перестройки жилища требовались деньги, и Куп заработал их сверхурочной работой. В детстве его первым заданием по ферме стала помощь хозяину в возведении водонапорной башни, которая ныне высилась над полями, точно сторожевой пост. Серое сооружение в худосочных откосах медленно росло, но еще до завершения постройки Куп любил развалиться на покатой крыше и глазеть на близлежащие холмы, словно они были дорогой на волю. Теперь, через десять лет, темные недра

башни где-то дали течь.

Едва Куп открыл люк и заглянул внутрь, как его охватила паника. Что если в невидимой воде плавает змея или, хуже того, мертвец? Еще секунду постояв на дневном свету, он подтянул лестницу, по которой обычно забирался на крышу, и спустил ее в воду. Потом скинул одежду, сунул за ременный пояс легкий молоток и полез в бак.

В тугие резиновые манжеты на его запястьях были воткнуты заточенные щепочки секвойи. Купу присоветовали наведаться к Эбдону Ламберу. Когда в Петалуме он спросил стариков, облепленных кудрявыми стружками, нельзя ли переговорить с мистером Эбдоном, те вежливо объяснили: Эбдон — святой покровитель бондарей. Куп намеревался отыскать течь и проконопатить стенку снаружи, но старики, мастерившие и починявшие винные бочонки, рекомендовали воспользоваться заточенными щепками секвойи или кедра и вбивать их изнутри, дабы клинышки промокли и разбухли. Секвойя выдержит сотню с лишним лет даже на речном дне, сказали бондари.

В темноте Куп выпустил лестницу и подплыл к стенке бака. Скорее всего, течь возникла не под водой и не над водой, а где-то на границе мок-

рого и сухого дерева — именно там зародилась гнильца. Куп пробирался вдоль склизкого бока резервуара. Ни черта не видно, искать можно только на ощупь. В стоялой холодрыге на поиски уйдут часы, если не дни. Куп нащупал свои инициалы, которые когда-то давно здесь вырезал, однако находка не порадовала. Это как перст судьбы. Сколько раз за жизнь ему или кому другому из семьи придется чинить этот бак? Сами построили себе темницу.

Продрогший Куп выбрался наружу, натянул штаны и рубаху и подставился благодатному солнышку. Из окна второго этажа ему махали Анна и Клэр. Сейчас он обогреется и опять нырнет.

По сути, мы — ничто. В юности считаем себя центром вселенной, но лишь по воле случая идем тем или иным путем, лишь счастливый жребий позволяет нам уцелеть и развиться, однако мало что зависит от нашего собственного выбора и решения. Умей Куп оглядываться на прожитое, он мог бы обдумать и понять разнохарактерность их троицы, но в тот день, когда он, греясь под солнцем, ответно помахал девушкам, Анна и Клэр для него были одинаковы и отличались лишь цветом блузок, хотя он не сказал бы, кто из них в желтой, а кто в зеленой. Потом Куп вновь ныр-

нул в темноту бака, и образ машущих девушек, лица которых застила древесная ветка, канул в прошлое.

Пальцы Купа снова зашарили по деревянной стенке в поисках крохотной трещины. Металл во всех его вариациях — от масляного картера до ржавой цепи — был Купу предпочтительнее, он любил его запах и все его жизненные проявления. Отремонтированная машина означала возможность иной жизни, несмотря на то что семья редко покидала ферму. Однажды хозяин побывал за границей штата, в Неваде, и все равно отзывался о поездке как о чем-то глупом, ненужном и даже опасном. Но Куп любил риск и был равнодушен к опасности. В своем нынешнем загоне он оказался благодаря соседу, чья жена вскоре умерла в родах. Однако все в руке случая.

Куп обшарил бак почти по окружности, прежде чем нашел протечку. Издав фальшивый театральный хохот и насладившись его эхом, Куп распластался в воде, точно лягушка на мелководье. Затем молотком загнал клинышек в щель. Потом законопатил вторую дырочку, обнаруженную рядом, и подплыл к лестнице. Наверху даже солнце не могло его согреть. Забежав в дом, Куп разделся, закутался в одеяло и вновь вышел

на улицу.

Большое окно, смотревшее на лесок, завершило перестройку хижины. Потом Куп стал мастерить помост. С семи утра над долиной разносилось эхо его молотка. Работал он в одиночку, и за все время стройки единственным живым существом, составлявшим ему компанию, был бродячий кот Верхолаз, который никому не показывался на глаза. Иногда котяра прогуливался по узкой рукотворной тропке, венчавшей холм, но иных выходов в свет не совершал. Оторвавшись от плотничанья, всякий раз Куп замечал наблюдавшего за ним Верхолаза, но кот тотчас пригибал голову и скрывался за взгорком. Никто не видел его спящим, никто не знал, чем он питается. Но когда округу накрыл мощный буран, и мысли не было, что он погиб.

Сберегая доски на помост, Куп сладил стены хижины из рифленого железа. Он отлил бетонные сваи, благодаря которым край помоста на десять футов выдавался над склоном. Куп не спешил и, приколачивая доски, то и дело отвлекался, чтобы поглазеть на тень ястреба или туман, ледником сползавший по лесистому склону. Уединение его ничуть не тяготило, однако то, что вскоре случилось, возможно, было результатом много-

дневного одиночества. Он изголодался по чему-то столь простому, как обмен улыбками или прикосновение.

Что это было: грех или зов природы? После долгой варки в семейном тигле ты привязываешься к тому, кто рядом с тобой, и, наверное, есть какое-то логическое объяснение тому, что произошло на помосте, окруженном такой тишиной, словно иных жизней нет вовсе.

Никто из них другого не опередил. Казалось, все было в унисон. Однажды Анна — та, что скакала, точно щенок или мальчишка, та, которой Куп ивовыми ветками зашинировал сломанное запястье, прежде чем отвезти ее к костоправу, та, что подначивала сестру пройти с завязанными глазами по берегу водохранилища («Дам денег!»), и когда Клэр отказалась, прошла сама; та, которая читала так много и вдумчиво, что лицо ее обрело выражение человека, разглядывающего муху на кончике своего носа, — извилистой тропой, которой пользовались коровы и временами Верхолаз, направилась к залитой солнцем хижине. Она миновала дерево, на нижних ветках которого висел мешок с пестицидом (здесь скотина укрывалась от роившихся оводов и москитов), затем прошла через круглый загон. Наверное, Куп уже пообедал,

думала она. Было около двух. Едва Анна закрыла выходные ворота и, обмотав цепью столб, защелкнула замок, как хлынул внезапный ливень, насквозь ее вымочивший. Потемневшая одежда отяжелела. Но через две-три минуты дождь стих.

Куп даже не заметил краткого ливня; сидя на краю помоста, он разглядывал лесок на противоположном склоне. Под ногой Анны новенькие половицы не скрипнули. На помосте гулял ветер. Куп обернулся и увидел ее. Пасмурное небо превращало его лицо в тень.

Ты промок, сказала она.

Чепуха, бросил он беспечно и скупо.

По воздуху птица за пять минут доберется до фермы, думала Анна. Конечно, напрямки не полетит, но будет закладывать виражи, огибая холмы. Сама она поднялась сюда за двадцать пять минут. Машина справится за четыре. Лошадь дотрусит за десять. Но с холма ферма казалась городом, до которого долгие дни пути. Анна взглянула вниз и почувствовала, что от других они отделены сотней туманных долин и ночью в дороге.

Пожалуйста, разведи костер, Куп.

Дождь теплый, тихо сказал он себе и громче повторил: дождь теплый.

Для меня. Одежда. Вся промокла.

Ладно. Сейчас.

Он обомлел, когда блузка, облепившая ее, точно водоросль, снялась одним махом. Анна потупилась; в сером свете пылало ее лицо, белело худенько тело в конопушках дождинок.

Мой черед, сказала она.

Стояла тишина, лишь капли стучали по водосточному желобу. Все другое замерло. Облака, невидимые настороженные холмы. Анна видела себя и Купа в этом погодном раздумье, и тут выглянуло солнце. Лисья свадьба,[5] говорил отец.

Тот незабываемый день сохранился в памяти Анны чувством, что она всюду. У плиты рядом с Клэр, которой говорит: «Я попала под дождь», и та хочет помочь ей раздеться (опять!). «Ничего, я сама». И она же из-под укрытия кудрявой зелени деревьев по другую сторону оврага разглядывает два хрупких беззащитных тела на помосте. Под солнцем, выглянувшим после мимолетной грозы, пальцы Купа отбрасывают тень, когда бродят по ее животу, словно бездумно-задумчиво бороздя воду. Вот его смуглая рука и спутанные волосы, пронизанные солнцем, а если повернуть голову, на краю помоста видна намокшая, но все еще

---

[5] Примечания: 5

Аналог русского выражения «грибной (слепой) дождь».

дымящаяся самокрутка.

Тот, кто был рядом, а потом навалился на нее, казался уже не Купом, а кем-то другим, чьи руки так больно пришпилили ее к доскам, что хотелось сбросить его с себя.

Анна… — наконец выговорил он, словно это обнаженное слово было паролем. Руки его ослабили хватку, он приник к ней, и теперь в переменчивом свете она видела только его волосы, упавшие на ее лицо.

Потом они лежали лицом друг к другу. «Лисья свадьба», — сказал он. Присловье, слышанное в их доме, сейчас покоробило, ибо она не желала никаких напоминаний о семье, но только молчания. Словно… словно… в безмолвии вся телесность события могла исчезнуть, не оставив никаких осязаемых улик.

* * *

Случалось, она приходила к хижине и просто наблюдала за его работой. Предложение вдвоем приколачивать доски он отвергал. Бывало, с библиотечной книгой она устраивалась в теньке под козырьком рифленой крыши и тогда уже не слышала визга пилы и грохота молотка, пере-

носясь в иную страну: с «Гепардом»[6] в Италию или с мушкетером во Францию. Иногда они даже не касались друг друга, пытаясь заболтать в себе желание, и случались дни, когда в тесноте бесцветной хижины не было ни чтения, ни разговоров. Однажды она принесла старый патефон и несколько пластинок на семьдесят восемь оборотов, которые отыскала дома. Ручкой заведя патефон, словно древнюю модель «форда», они танцевали под «Начало танца»,[7] потом снова его заводили и опять танцевали. Музыка уносила их в иное время, где они не принадлежали семье и здешним местам.

Анна сидела на помосте и разглядывала Купа, тиская его черную футболку. Потом из своего рюкзачка достала гирлянду буддийских флажков,

---

[6] Примечания: 6

«Гепард» («Il gattopardo») — единственный роман итальянского писателя Джузеппе Томази ди Лампедузы (1896–1957), опубликован после смерти автора (1959); по мотивам романа итальянский кинорежиссер Лукино Висконти снял одноименный фильм, в 1963 г. удостоенный Золотой пальмовой ветви Каннского фестиваля (в главных ролях Клаудиа Кардинале, Берт Ланкастер, Ален Делон). В первом русском издании (1961) роман был назван «Леопард», такое же название в нашем киноведении получил и фильм; корректное заглавие было восстановлено в недавнем переиздании (М.: Иностранка, 2006).

[7] Примечания: 7

«Начало танца» («Begin the Beguine») — песня из мюзикла «Юбилей» (1935) американского композитора Кола Портера (1891–1964), автора музыки и текста.

которые купила по почтовому каталогу. Натянув футболку, она взглянула на стойки, подпиравшие козырек над дверью.

— Подсади, а? — Анна схватила молоток и гвоздь. — Давай прибьем к карнизу.

Присев на корточки, Куп усадил ее себе на плечи.

— Пора для души и разума! — распевала она. — Да благословит тебя ветер!

Загривком он чувствовал ее влажность, когда, подавшись вперед, она приторочила к карнизу гирлянду, затрепетавшую на ветру.

Здесь пять флажков, объяснила Анна. Желтый — это земля, зеленый — вода, красный — огонь, которого надо избегать, белый — облако, голубой — небо, бескрайний простор и разум. Куп, я не знаю, что делать.

Сидя на его плечах, она смотрела в пустоту.

Думаешь, Клэр знает?

Мы разговариваем, но о тебе я даже не заикаюсь; наверное, ей это странно.

Стало быть, знает.

Иногда, важничая, она заговаривала с ним на школярском французском, словно обращалась к чужеземцу, которого впервые видит. Или уклонялась от ласк и вслух читала про какой-нибудь

город. Бывало, после любви она рыдала, уткнувшись в его загорелое плечо. Порой ей хотелось, чтобы этот мальчик или мужчина, не важно, поплакал вместе с ней и выразил понимание особости того, что между ними происходит. Даже готовый извергнуться в нее, он не произносил ни звука, хотя безмятежные глаза его превращались в разверстую пропасть. Ему-то хорошо. Не надо каждый вечер возвращаться домой, ужинать с отцом и сестрой, а потом садиться с ними за вист и ловить на себе взгляды Клэр, пытающейся проникнуть в твою тайну. Бесплодные партии тянулись мучительно долго: набор комбинаций, дотошный подсчет очков. (Толком играл лишь Куп, потешавшийся над неумелостью партнеров.) Но хуже всего — в обоюдном молчании лежать рядом с сестрой.

Стало быть, Клэр знает.

Куп любил других женщин? У тебя кто-нибудь был? — спросила Анна. Он смутился, но потом ответил: «Была одна в Туларе». Расскажи о ней. «Нет». Пожалуйста! «Нет». Как я по сравнению с ней? «Я только раз с ней переспал». Ага, значит, *переспал.* Анна чмокнула Купа в щеку, оделась и ушла, оставив его в недоумении. По дороге чуть не расплакалась, но сдержалась. Она попыталась

представить себя в постели с кем-то другим. Никто никогда не поймет ее лучше Купа. И его никто не поймет лучше нее. Это придало сил для возвращения в ее другую жизнь. Ей было шестнадцать. Всего ничего.

Анна съездила в Петалуму; в «Скобяной лавке Рекса» она купила банку краски, необычайно голубой, под стать синеве флажка, и притащила ее на холм. Куп вынес стол на помост. Анна вскрыла банку и размешала краску. В тот день погода была странная: жара и бешеные порывы ветра, грозившие оторвать гирлянду. Анна помнит каждую мелочь. Она завела патефон. Оба оттягивали миг любви. Анна песком продраила стол и начала его красить, вслух спрягая французские глаголы. Ее бесила бесцветность хижины, и синева была даром Купу. Вдруг ветер стих и пала тишь. В темно-зеленом небе клубились облака, похожие на взбитое масло.

Обнявшись, они лежали на помосте, когда тот содрогнулся от удара грома, будто сквозь воронку ринувшегося на их наготу. Они не дерзнули разомкнуть объятье. Анне казалось, их сущности поменялись телами. Ее сердце стало сердцем Купа. Она оглохла, в ушах еще гремел гром. Ее била дрожь. Потом из ниоткуда возникла чья-то рука,

которая ухватила Купа за волосы и сдернула с Анны, позволив ей на миг увидеть небо, тотчас перекрытое головой отца.

Отец прискакал на холм, чтобы уведомить парня о надвигавшейся буре; он спешился с четвертной лошадки,[8] от раскатов грома прядавшей ушами, и мимо хижины прошел на помост. В первую секунду он даже не опешил, но испугался. Дочь, голенькую, как младенец, он отшвырнул на мокрый склон. Куп замер. Отец обрушил на его голову трехногий табурет. Куп влетел в хижину, разнеся окно во всю стену. Потом медленно встал, глядя на человека, который его воспитал. Отец шагнул к нему. Куп не шевельнулся. Удар в грудь снова его опрокинул. Анна завизжала. Почему Куп так покорен? Зачем отцовы кулаки уродуют его прекрасное лицо, словно оно всему причиной, словно этим можно что-то исправить? Отец навис над распростертым Купом и вновь саданул его табуретом.

Анна поняла, что он не остановится, пока не убьет. Стряхнув оцепенение, она вскочила на помост и попыталась оттащить отца от непо-

---

[8] Примечания: 8

Четвертная лошадь — порода лошадей, обладающих высокой скоростью на коротких дистанциях (четверть мили).

движного тела. Но тот намертво вцепился в бесчувственную жертву. После очередного хрусткого удара в грудь губы Купа окрасились кровью. Анна повисла на отце, но силы их были неравны. Тогда она схватила большой осколок стекла и что есть мочи воткнула его в обтянутое ковбойкой плечо. Отец взревел, точно бык, и ослабевшей рукой смазал ее по лицу. Из плеча его торчала треугольная стекляшка. Анна метнулась к Купу, своей наготой прикрывая любимого. Отец ее отшвырнул. Она снова втиснулась между ним и неподвижным телом. Здоровая отцовская рука медленно приблизилась и сдавила ее горло. Свет померк, Анна обмякла, осев на колени. Сдерживая судорожные всхлипы, она пыталась расслышать дыхание Купа и уловила легкое дуновение. Но Куп не шевелился. Она потеребила его. Ничего. Окровавленный глаз заплыл. Анна обхватила себя руками, будто сберегая в груди сердце Купа.

Отец молча смотрел на них. Потом сдернул с кровати овчину и укрыл дочь. На Купа больше не взглянул. На руках он перенес Анну через стеклянные осколки и опустил на тропу. Всю дорогу к дому он держал ее за руку; мотая головой, рядом шла четвертная лошадка. «Куп! Куп!» — кричала Анна.

~~~

Он ничего не видел. Сел, но не различил грань между небом и землей. Над долиной бушевал буран. Дождь со снегом. По рифленой крыше молотил град. Ветер, задувавший сквозь разбитое окно, подсказал, что он сидит посреди хижины. Снаружи, вытягиваясь вдоль земли, трепетали пять флажков, когда-то притороченные Анной. Голубой, красный, зеленый, чуть заметный желтый и невидимый белый.

Лишь разбитое лицо отзывалось острой болью. Окоченевшие члены занемели. Вот здесь он и помрет. Здесь или на дороге с холма. Кто сейчас на ферме? Он медленно встал. Вокруг так грохотало, что он не слышал собственных шагов и казался себе призраком. Он сел за недокрашенный стол и нащупал книгу Анны. Холодная.

Очнувшись, он понял, что уснул за столом. На миг прояснело, но ветер тотчас вернулся, и буря вновь отрезала хижину от мира. Только флажки щелкали. Он высунул руку в разбитое окно — льет?.. Где Анна, дома? Всякий раз, поднимаясь с помоста, она хихикала, и поначалу он решил, что она смеется над ним или, хуже того, над ним
~~~

и собой. Оказалось, она ранимей, чем он думал. «Хочу, чтобы когда-нибудь там была ванна». Она ткнула пальцем в сторону, словно отрекаясь от всего, что было между ними.

Часом позже он полз на четвереньках, боясь в непроглядной мгле потерять тропу. Сметая перед собой снег, он двигался ощупью: если под руками грязный песок — это дорожка, если трава — обочина. Выйдя из хижины, он напоролся на моток колючей проволоки, о которую ободрал щеку и порвал тонкую куртку. Вдоль рифленой стенки доковылял до крыльца, где поймал и оборвал гирлянду, мазнувшую его по лицу. Идем со мной, Анна. Он пустился вниз с холма.

Набрякшее небо истекало крупкой, ветер кружил палую листву. Не видно ни зги. Ломило ослепший глаз. *Буддист был бы выше этого. Счел бы это добром, правда?* Он пробирался дальше. Сильный толчок волны опрокинул его набок. Значит, он добрался до мостков через запруду; вышедшая из берегов вода потащила его с холма, набивая камешками насквозь промокшую одежду. Потом шмякнула о дерево, задержавшее его. Он был в ярости, но не позволил себе терять голову. Опираясь спиной о ствол, дотянулся до нижней ветки и, перебирая по ней руками, дви-

нулся вперед; пальцы наткнулись на мешок с пестицидом. Теперь ясно, где он: если идти по направлению ветки, упрешься в ограду неподалеку от ворот. Он стал взбираться на взгорок, стараясь не сбиться в сторону. Вскоре он уткнулся в проволочную изгородь и обещал себе отдых, когда переберется через нее. Но одолев ее, он тотчас двинулся к дому, держась за проволоку. Осталась всего-то сотня ярдов. Он не знал, кто в доме. Проволока жгла ладонь, но он выпустил ее, лишь перебегая тридцать ярдов открытого пространства перед домом.

Вскоре он заблудился, тыркаясь в темноте. Нашумел, сбив бочонок. Сделал шаг и уперся в машину. Поначалу он озлился. Нашарил дверцу, дернул, но та не подалась — обледенела. Он всем телом на нее навалился, а потом снова рванул. Открылась. Он взобрался на сиденье и захлопнул дверцу. Было тихо. Он слышал собственное дыхание. Включил свет в салоне. Окоченевшая рука чиркнула по фетру потолка, и он увидел свои пальцы в темной крови. Запустить бы печку, но нет ключа. Он придавил и долго не отпускал клаксон. Иначе он здесь сдохнет. Он слышал ее голос: желтый — это земля, зеленый — вода, красный — огонь, белый — облако, голубой — небо, бес-

крайний простор и разум. Потом он вырубился.

В отличие от нее, ты не захотел умирать. Пришел сюда.

Она хотела умереть?

Хотела. Да, наверное, хотела.

Чей это голос? Кто-то разогнул его одеревеневшие колени. Завернутый в одеяло, он лежал перед печкой. Упала искра. Запахло паленой шерстью. Хороший запах. Вкусный. Приятный.

Не выбрасывай мою одежду.

Почему?

Там нужные… штуки.

Какие?

Эти… эти…

Флажки, сказала она. Анна дала?

Да. Они не должны касаться земли.

В отличие от нее, ты не захотел умирать и как-то добрался сюда.

Это голос Клэр.

Где она?

Они были здесь. Он ее привел. Она молчала, даже со мной слова не сказала. Когда он ее привел, она вопила. Хотела умереть. Он посадил ее в грузовик и увез. Он был в крови. Они пробыли здесь минут десять.

Он молчал. Неизвестно, что знает Клэр.

Он весь был в крови, Куп. Вся одежда. Я думала, он ранен.

Клэр не знала, что Куп остался в хижине: увозя Анну, отец сказал, что он куда-то ушел. Потом ей послышался автомобильный клаксон, и она, открыв дверь, увидела завесу из дождя со снегом. На улице никого не было. Немного погодя она вновь услышала сигнал и опять вышла на крыльцо. Буря чуть утихла, и сквозь тьму Клэр разглядела угасающий желтый огонек. Минутой позже она бы его не увидела. Лампочка в салоне. Над домом громыхнул гром. Клэр замерла, потом взяла веревку, один ее конец привязала к перилам крыльца, другим обвязалась сама и сквозь бурю пошла туда, где проглянул огонек.

За ветровым стеклом увидев Купа, она подумала, что он мертвый. Но в желтоватом луче фонаря дрогнули его пальцы. Над Клэр вновь ударил гром. Куп был неподъемный, но она умудрилась выволочь его из машины, по жесткой стерне двора протащить к дому и втянуть на крыльцо. Потом освободилась от страховочной веревки, завернула Купа в одеяло и подтащила к очагу, пылавшему в темном пустом доме.

~~~

Наутро чуть проглянуло солнце. Клэр проснулась и вспомнила все, что с ними случилось. В стойле конь сам пригнул голову и подсунул уши под ремешки уздечки. Подстелив попону, Клэр надела на него седло и пока что несильно затянула подпругу. Потом уткнулась лицом в лошадиную шею и вдохнула ее необъяснимо приятный запах.

Кипарисы вдоль аллеи замерли, как часовые, все вокруг полнилось послегрозовой свежестью. Неспешно взбираясь на холм, Клэр взглядом рыскала по гряде, нет ли какой живности: нечто похожее на камень или бугорок могло оказаться теленком или какой другой скотинкой. Огляд сродни молитве на всякий случай. Склон был усыпан сломанными ветками и столбиками оград. Откуда-то занесло бочонок из-под масла. Помятый пейзаж. Река потемнела от ила, прежде не покидавшего дна. На вершине первого холма Клэр оглянулась и увидела водонапорную башню, покосившуюся на хилых опорах.

Куп ушел. Уже. Бог знает где сейчас Анна и отец. Шестнадцатилетняя Клэр одна-одинешенька
~~~

едет верхом на коне, который после ночи в конюшне, сотрясаемой громом, испуган и норовист. Она беспрестанно с ним говорит и сдерживает его от галопа, коим он жаждет выплеснуть скопившуюся энергию.

К хижине вела просека в каштанах. Спешившись, Клэр взошла на помост, усеянный осколками. Сквозь разбитое окно она увидела Верхолаза, растянувшегося на кровати. Прежде он никогда не заходил в дом. Голова кота, не ожидавшего гостей, покоилась на подушке. Природный хаос изменил даже его. Клэр осторожно сгребла разомлевшего кота в наволочку, оставив торчать его голову, и оглядела выстуженный домишко. Прежде, когда в нем имелись лишь тюфяк и очаг, она любила здесь ночевать. Это было ее горное гнездо. Потом оно перешло к Анне и Купу. Разрушенное бурей, оно вновь присмирело. Клэр прикинула, что бы такое с ним сотворить. Она представила, как оглянется на горящий домик с султаном черного дыма. Но кроме хижины, ничего не осталось от прошлого и юности.

Куп не вернется. Клэр это знала. Последнее время она жила как на воздусях. Иногда Анна возвращалась домой уже в сумерках, ее шалый взгляд и лицо, в котором читались несомнен-

ность в приобретенном опыте и страх перед всем, выдавали ее с головой. Признания не требовалось, все было ясно по ее безудержному кружению в темной кухоньке.

Вот тогда надо было сжечь хижину.

Клэр вышла на помост. Отвязала повод и забралась в седло, разговаривая с лошадью и котом.

Красное и черное

Череп, он же хиппи, стал единственным верным другом Купера, когда тот оказался в Тахо. Фокус в том, что этот «хиппи» выглядел самым нормальным среди завсегдатаев казино. Этакий благородный хиппи в изгвазданных фирменных сандалиях. С того дня, как Купер впервые о нем услышал, и до последней схватки с Братией за карточным столом наряд его ни разу не изменился: мятая гавайская рубаха, длинные патлы, бусы, брякавшие при каждом его движении, и похожее на удавку ожерелье из ракушек. Пристроившись на банкетке, Купер услышал такой разговор:

Этот твой дружок, хипарь…

Дорн не хиппи. Нельзя быть игроком и хиппи.

Самый настоящий хиппи. Из давних. Живет с врачихой-логопедом, с которой познакомился на концерте «Грейтфул Дэд».[9] Натуральный хиппи.

---

[9] Примечания: 9

Grateful Dead («Благодарный мертвец») — американская рок-группа, в 1965 г. созданная в Сан-Франциско, работала на стыке фолка, блюза, кантри, джаза и психоделического рока, практиковала длительные импровизации. Преданные поклонники группы, сопровождавшие ее на гастролях, получили кличку Черепа (Deadheads).

Сутулый крепыш Дорн был самым хладнокровным игроком, явившимся из сьерры. Он вывел теорию, что два часа ежедневного гандбола нивелируют пьянство, кокаин и многочасовое вечернее общество курильщиков.

Ты хиппи? — спросил Купер.

Они следили за игрой.

Возможно.

Есть такая байка: «Хиппи — живое свидетельство тому, что ковбои до сих пор трахают бизонов».

Слышал ее бессчетно.

Со дня приезда Купер почти ни с кем не говорил. Он смекнул, что за полминуты умудрился оскорбить одного из лучших и анархичных игроков в Тахо, который, по слухам, дважды разгромил Дэвида Мамета.[10] Новый знакомец взял его за плечо:

Извини. Спешу на встречу. Меня зовут Эдвард Дорн.[11] Как поэта.

Выйдя вслед за хиппи, Купер увидел, как тот

---

[10] Примечания: 10

Дэвид Мамет (р. 1947) — сценарист, режиссер, продюсер; автор сценариев фильмов «Почтальон всегда звонит дважды» (1981), «Плутовство, или Хвост виляет собакой» (1997), «Ронин» (1998) и других.

[11] Примечания: 11

Эдвард Дорн (1929–1999) — американский поэт и педагог, автор поэмы «Меткий стрелок».

оседлал велосипед и покатил по улице.

Куперу было двадцать три года, когда он оказался в Тахо и попал в компанию Дорна и его соплеменников. Присмотревшись, карьеру игрока он начал с пула в барах и бильярдных прибрежных городков. Он изучил, как быстро стареющие игроки крадучись обходят стол, как легкой гримасой прощают себе кикс, как некоторые влюбляются в удар. Распознавал желчных задавал и тех, кто скрывает свой истинный уровень. До этого Купер плохо разбирался в людях. Но пул по сути своей притворство, которым заманивают цель к столу. Потом, обнаружив в себе способности к картам, он понял, что в покере не нужно скрывать свой талант. Никто не откажется от партии, заподозрив в тебе сильного игрока. Покер — это неистовый расчет, камень на сердце и шанс последней карты (ривер), который укажет тебе судьбу. Куперу было уютно в этом хаосе и риске. В пьяницах, что качко, будто избегая водоворотов, мотались меж карточных столов, он узнавал себя и других юных дурачков, которых приманили всасывающие шланги на плавучих платформах реки Русской.

Дорновская группа взяла Купера под свое крыло. В нее входили сам Дорн, Манчини и Дофин,

которого так прозвали, застав за чтением европейского романа. В игорные залы они входили точно цари Вайоминга — кроме Дорна, который со своими бусами и сандалиями являл собой быстро замороженный продукт шестидесятых. Игроки вряд ли помнили имя президента Соединенных Штатов, но Дорн с гадливой увлеченностью следил за политикой. Он терпеть не мог «рожденных свыше» вроде Паунса Отри, чья группа, прозванная «Братия», перед тем как сесть за карты, на межэтажной площадке собиралась в молитвенный кружок. Дорн его избегал. Отри мотался между Тахо и Вегасом, но Дорн и его когорта считали Вегас преисподней. Они предпочитали Тахо. Порой на уик-энд они отправлялись в Рено, и поездка проходила в бесконечных спорах о лучшей и худшей дури, лучшей породе собак, лучшем на свете шулере, лучшей массажистке, лучшем и худшем актере. Все единодушно сходились на том, что самый паршивый фильм в истории кино — «Ярость» Де Пальмы,[12] это уж само собой. Однажды Манчини заявил, что Карл

[12] Примечания: 12

Брайан Де Пальма (р. 1940) — американский режиссер, сценарист, продюсер, постановщик фильмов «Ярость» (1978), «Лицо со шрамом» (1983), «Неприкасаемые» (1987), «Путь Карлито» (1993), «Миссия невыполнима» (1996), «Черная орхидея» (2006) и других.

Малден[13] — величайший актер.

Почти все его картины: «В порту», «Трамвай „Желание“», «Я признаюсь»…

Еще «Одноглазые валеты»…

Ты у меня с языка снял. Он и Кэти Хурадо[14] вытягивают весь фильм.

Он снимался в «Цинциннати Кид», да? Играет шулера…

Распалившийся Манчини помешкал.

Знаешь, Карл снялся в офигенных картинах, но «Цинциннати Кид» маленько не того. Помнишь, там есть сцена, где они играют в безлимитный пятикарточный стад? Значит, у Стива Маккуина[15] тузы и десятки. У Эдварда Г. Робинсона[16] — тоже грандиозный артист, будь он шахматистом, ему бы поставили памятник — три карты и ни одной пары. Никакого шанса улучшить комбинацию. Ни малейшего. Пауза. И тут размазня Маккуин

---

[13] Примечания: 13

Карл Малден (1912–2009) — американский киноактер.

[14] Примечания: 14

Кэти Хурадо (Мария Кристина Эстела Марсела Хурадо Гарсия, 1924–2002) — мексиканская актриса, номинант премии «Оскар» в 1953 году.

[15] Примечания: 15

Стив Маккуин (1930–1980) — американский киноактер, авто- и мотогонщик.

[16] Примечания: 16

Эдвард Голденберг Робинсон (Эмануэль Голденберг, 1893–1973) — американский актер.

чуть приподнимает, позволяя Эдварду Г. остаться в игре. Нельзя было этого делать! Надо было вздрючить банк, поставить все от жены до попугая, чтобы его отпугнуть. У тебя же отличная рука. Ставь все что есть.

И что? Я забыл, чем там кончилось.

Эдвард Г. выкладывает стрит-флэш, и Маккуину капец.

Купер не видел фильмов, о которых они говорили. В этой компании тридцати- и сорокалетних он был самый молодой. Друзья за ним приглядывали, распознав в нем неудержимо рискового парня, готового свернуть себе шею. Что удивительно, он мог подражать игровой манере каждого из них, словно впадая в транс. Но в азарте игры, когда требовалась выдержка, становился шальным и глупым. Была надежда, что когда-нибудь малый станет их искусным преемником, но пока что он вел рукопашную с самим собой.

Тогда как приятели Дорна сражались за образ жизни. Они играли двадцатичетырехчасовые марафоны, переходили со скотча на кокаин, возле бассейна или на заднем сиденье кондиционированной машины читали Эрднайзе и Филипа

К. Дика,[17] трахали пылких баб, прибавив звук на программе «Дискавери», и ширялись в спускающемся лифте. Купер в этом не участвовал, его это не трогало. Он был разумен во всем, кроме игры. Приятели взбадривались кокаином. Сонному не выиграть. Вот и вся логика. Спустя несколько лет, это будет в Санта-Марии, женщина по имени Бриджит попытается дать Куперу дозу, но он возьмет ее лицо в ладони и скажет:

— Я знаю, сейчас ты не поверишь, но придет день, когда на обороте спичечной книжицы ты напишешь четыреста слов и сочтешь их шедевром, а себя возомнишь несокрушимой.

— Несокрушим ты, Купер, — усмехнется Бриджит.

Однажды вечером в закусочной приятели разговорились о необычных выигрышах. Дорн упомянул игрока по прозвищу Язычник, который с парой девяток выиграл свою будущую жену.

Сговоры, жульничество и дурь были повсюду. Два человека просили Дорна рекомендовать надежного шулера, и тот назвал Фиделио.

---

[17] Примечания: 17

С. В. Эрднайзе — не раскрытый псевдоним автора книги о карточных трюках «Эксперт за карточным столом». *Филип Киндред Дик* (1928–1982) — выдающийся американский фантаст и знаковая фигура для всей современной культуры («визионер среди шарлатанов», по выражению Станислава Лема).

— Славное имя, — сказали игроки. — Кто он по национальности?

— Филиппинец.

— Нет, спасибо. Нам нужен ариец.

Купер опешил, но Дорн объяснил:

— Вполне разумно, им нужен неприметный шулер.

Этот мир требовал умения быстро забывать. Ты выпивал с наемными убийцами или наркоторговцами, которые на прошлой неделе кого-то замочили черным шаром. Вокруг то и дело заканчивались короткие жизни. Приятели гадали, кто из них первым окочурится. Дофин или Манчини? Дофин — вряд ли. Хотя он регулярно принимал куаалюд,[18] его шансы уцелеть были выше. Он самозабвенно рассказывал друзьям о мастерстве великих пианистов и учил их одеваться, понося мокасины, татуировки, мужской одеколон и галстучный узел «Виндзор». Часами он говорил о надлежащей длине рукава и высоте воротничка. Величайшим литературным произведением, в котором описана одежда, Дофин считал «Повесть о Гэндзи» и в долгие поездки усыплял приятелей чтением отрывков из творения мадам Мураса-

---

[18] Примечания: 18

Куаалюд — фирменное название метаквалона (седативное средство).

ки.[19] Он уже поведал им о японских фильмах ужасов и первых роковых женщинах.

— Ты их пока не встречал, но встретишь, — говорил он Куперу. — Они придут к тебе слабыми. Ничто так не обольщает, как страдающая женщина. Они точно попы, не знают препятствий.

Но однажды его, оглушенного кокаином, два баптиста завлекли на лоуболл,[20] и он все спустил. Через пару дней Дофин свалился с сердечным приступом. Свою последнюю ставку он сделал на футбольный матч, который смотрел по больничному телевизору, и через неделю умер. Когда санитар сдернул простыню, Дорн, пришедший на опознание, увидел на икре Дофина вытатуированного червового валета — юношескую вкусовую оплошность.

Вот так Манчини оказался в выигрыше. (Он продолжал свои одноразовые любовные романы и всех удивил тем, что позже в Айове стал консультантом по наркотическим проблемам.)

---

[19] Примечания: 19

«Повесть о Гэндзи» — одно из крупнейших произведений японской классической литературы, созданное в эпоху Хэйан. Авторство романа приписывается Мурасаки Сикибу, даме при дворе императрицы Сёси (годы правления 986–1011). Основу повести составляет эротическая биография принца Гэндзи — побочного сына императора.

[20] Примечания: 20

Лоуболл — версия покера, в которой самая низкая рука (карточная комбинация) берет банк.

Когда Дофин умер, в одиннадцать дня друзья собрались на квартире Манчини. Звук в цветном телевизоре был отключен. В новостях сообщали о подготовке к войне в Заливе, и Манчини, пощелкав каналами, остановился на программе, в которой показывали одетую в шорты девицу из секты змеепоклонников. Друзья молча на нее пялились, затем вспомнили смешные случаи с Дофином, а потом сели в машину и прокатились вокруг озера. На высоте шесть тысяч футов над уровнем моря хмель забирает быстро.

Они сыграли «короткий стол»,[21] поучились новым играм и разделили выигрыш. Дорн всегда придерживался главного принципа (как в песне): «быть с той, у кого волосы вот досюда и полно денег».[22] Размягченный смертью Дофина, Купер решил показать, насколько он хорош в карточных манипуляциях. Вскрыв новую колоду, он отбросил пустышки и джокеры, снял на двадцать шестой карте и восемь раз за минуту выдал серию тасовок «голубиный хвост», после

---

[21] Примечания: 21

Вариант покера с небольшим числом игроков.

[22] Примечания: 22

«...the one with hair down to here and plenty of money» — строчка из песни «Did You Ever Have to Make Up Your Mind» («Тебе приходилось решать?») калифорнийской группы *Lovin' Spoonful* с их альбома «Do You Believe in Magic» (1966).

которых последовательность карт осталась первоначальной. Даже если его умение не сгодится в игре, он признался в нем друзьям, дабы завоевать их доверие.

— Смотрите внимательно, — сказал Купер перед демонстрацией.

— У тебя руки доброго католика с четками, — заметил Манчини. — Зачем тебе это?

Великому множеству людей в ключевые моменты жизни досталась не та книга. Когда несколько лет назад на пирсе Сан-Франциско Купера обчистили в «три туза», он пошел в игровую лавку, чтобы узнать, как его обжулили, и нашел там репринтное издание «Эксперта за карточным столом», опубликованного аж в 1902 году. Книга, растолковавшая, как передергивать три карты, стала для него ящиком Пандоры. Он открыл тайный мир.

Я понял, что должен себя обезопасить, и нашел трактат «Наука и искусство манипулировать картами», рассказывал Купер.

Надо бы тебе повидаться с Язычником и перенять у него пару трюков, сказал Дорн. Он из старых картежников. Может, черкну тебе рекомендательное письмецо.

Вскоре после похорон Дофина друзья разбежа-

лись. Дорн вернулся в Невада-Сити, где его давняя подруга Рут работала логопедом. Он пригласил Купера в попутчики, и в сопровождении снежных буранов они двинулись по серпантину дороги в сосновой кайме. Покинув горы, Дорн переключил приемник на частоту KVMR. Оказалось, в Невада-Сити он столп общества — активно сотрудничает с местной радиостанцией, способствует превращению старой кузни в общественный центр. Вместе с тем он не расставался со своей теорией тайных заговоров, которые, подобно покеру, разоблачают себя через пометки и взгляды. Дорн всегда умел распознать контуры западни и почуять подвох. Его огорчало, что он не смог разгадать Братию рожденных свыше, не сумел взломать их код. С ними он обмишулился, ибо так и не понял, кто такой Паунс Отри: великий игрок, ненавидящий проигрыш, или пройдоха, которого шулера и дилеры обеспечивают подтасованными колодами. Нынче, когда готовилась война, Братия носила в петлицах национальные флажки. Купера мутило от их твердолобого политического фарисейства, он желал их уделать.

Не выйдет, сказал Дорн.

А вдруг.

Коль уж надумал тягаться с бандой Отри, сна-

чала повидай Язычника. Он тебя обучит. Парень отошел от дел, но ненавидит все, что касается Вегаса. К тому же он в бегах с чужой девицей.

С той, которую выиграл в карты?

Да.

Как его найти?

Прежде всего, не вздумай назвать его Язычником. Его зовут Аксель. Автобусом езжай до Бейкерсфилда, а там кого-нибудь наймешь, кто отвезет за семьдесят миль в пустыню.

* * *

Аксель с подругой обосновались на бездействующей военной базе «Иерихон» и проживают в старом (восьмидесятого года) трейлере, подключенном прямо к линии электропередачи. Купер получает кров в старой геодезической палатке неподалеку от серебристого жилища пары. Лина показывает родник, в котором они моются. Тут еще плавают золотинки, говорит она. Еду готовят на улице, пользуясь сипящим газовым баллоном. По ночам вдали видны огоньки других обитателей заброшенной базы. Поблизости бродят две лошади Лины.

Имя Дорна растапливает лед знакомства.

Господи, я так близко знал его мать, что чуть не

стал его отцом, говорит Язычник.

Он очень толковый, деликатно отвечает Купер.

Говорят, он хиппи, задумчиво бормочет Язычник.

Вроде бы.

Лина садится на лошадь, которая ведет себя как шелковая, и Куп вдруг вспоминает Клэр. В седле она казалась безмятежной. По словам Язычника, Лина в розыске — ее первый муж-бузотер так и не смирился с побегом супруги. *Страдающая женщина,* припоминает Купер. Днем можно осмотреть холмы, лошадиные тропы и старые золотые рудники. Лина удивлена верховыми навыками Купера: «Ничего себе, игрок да еще наездник!»

Вдвоем они трусят по пустыне. Все равно надо ждать вечера — лишь тогда Аксель достанет карты и, впустив Купера в трейлер, захлопнет дверь. Часа через три-четыре Купер вернется в свою палатку и провалится в сон.

Днем он иногда бродит по безлюдным кафешкам и казармам заброшенной базы, похожей на окраину Луны. Здесь ни души, но вечерами вдали слышен стрекот генератора, мигают огоньки. Кроме Лины и Акселя поговорить не с кем.

Обучение «гуру — ученик» выглядит пародией, ибо Язычник ведет шумную половую жизнь — он даже извинялся за свои вопли, частенько напоминавшие зов о помощи. Обычно соитие происходит в три пополудни, после чего пара выбирается из трейлера, точно присмиревшие сони. Прикрыв тряпицей глаза, Купер пытается вздремнуть в своей палатке, удаленной на сорок ярдов, но весьма трудно игнорировать крики из трейлера, означающие то ли капитуляцию, то ли богоявление.

Через неделю Язычник удваивает время занятий. Теперь партии длятся как минимум шесть часов. В полночь Аксель объявляет перерыв и приносит с кухни скотч и два стакана, затем игра возобновляется.

— Остерегайся ошибочной концовки, — говорит он, словно предшествующие часы были всего лишь репетицией.

В таблице Язычник фиксирует воображаемый кредит-дебет. Купер уже задолжал тридцать тысяч долларов.

— Проигравший отправится в Минивер за продуктами, а я верхом не езжу, — заявляет Язычник.

На следующий вечер он поднимает ставку:

— Если выиграешь, переспишь с Линой. Постарайся сдать из середины колоды. Нынче всё катит. Победишь — выкажешь ей симпатию, которую, знаю, ты к ней питаешь.

Купер донельзя сконфужен.

— Болтают, я выиграл ее в карты, — продолжает Язычник. — По правде, это она меня выиграла. Конечно, сдавал я. ЦРУ считает, что сломать и вывернуть можно любого, если знаешь его слабость. Номер один — секс, затем деньги и власть. Иногда гордость и тщеславие. В чем слаб ты?

Стаканы с виски покачиваются на подоконнике.

— За большим столом передернуть легко, так что мы ограничим себя маленьким. Вот еще: в Вегасе много что отвлекает внимание. У нас — ничего. Поэтому не спускай с меня глаз.

Так началась вторая неделя обучения шельмовству: как стать непойманным шулером.

— Природа обделила нас изящным умением делать нечто так, будто ничего не происходит, — бормочет Язычник. — Надо создать иллюзию обычности. Сдавай медленно, как неумейка. Тогда их одолеешь. Ну-ка, облапошь меня.

Купер уже понял: будь воля Акселя, он бы похоронил Вегас в песках.

— Вот гляжу я на эту базу и шибко надеюсь, что Вегас ждет та же участь — он станет усыпальницей певцов и комиков. Через тысячу лет мы раскопаем гробницу великого Уэйна Ньютона,[23] и он вновь станет божеством.

Аксель балаболит, не смыкая рта. Он напоминает тех, кто голосует на дороге и потом в машине сыплет библейскими цитатами с номерами глав и стихов, подтверждающими, что конец света наступит еще до конца недели. Он вещает о манерах, стиле и сосредоточенности.

— Говорят, Толстой входил в комнату и за четверть часа понимал, что представляют собой люди, в ней собравшиеся. Единственный человек, кого он не понимал, был он сам. Вот что значит настоящий профессионал.

Язычник тасует колоду, потом быстро и хмуро сдает, перечисляя, что он любит в покинутом им мире: эспрессо, сюжеты романов Дональда Уэстлейка,[24] вкус сушеных перцев халапеньо;

---

[23] Примечания: 23

Уэйн Ньютон (р. 1942) — американский джазовый певец, выступавший в Лас-Вегасе. За сорок лет дал около тридцати тысяч сольных концертов, за что получил прозвище Мистер Лас-Вегас.

[24] Примечания: 24

Дональд Уэстлейк (1933–2008) — американский писатель и киносценарист, работавший в жанрах детектива, фантастики и юмористической прозы.

Купер следит за сдачей. Ошибочное обвинение аукнется тысячным штрафом.

— Всего-навсего тысяча, — приговаривает Аксель. — Обычно за ложное обвинение отстреливают руку. Не забудь: если нынче выиграешь, Лина ждет за дверью. Я пойду спать в палатку. Наверное, буду волком выть от ревности. Но уговор есть уговор. Кстати, я ей сообщил, и она одобрила наш кон. О подобной ставке я читал у Фолкнера.

— Не отвлекай меня, — говорит Купер.

— Я нарочно тебя отвлекаю. Ты уже проморгал две подтасовки, когда я рассказывал о Толстом. Потому что *слушал*, вникал в смысл, блуждал в лабиринте мысли. Надо забыть о смысле и думать только о сдаче…

Два часа ночи. В таблице, пришпиленной к лакированной дверце, Купер отмечает свои проигрыши. Он напрочь раздавлен. Ведь считал себя мастером.

— Знаешь, какой титр лучший в фильме? — спрашивает Язычник, не трогаясь с места.

— Завтра расскажешь, — бурчит Куп. — Спокойной ночи.

— Проиграл, да? — из соседней комнатушки спрашивает Лина.

Непонятно, знает ли она о нелепой ставке, сде-

ланной Акселем. Лина берет Купера за руку:

— Прекрасные руки. Так говорит Аксель. Спокойной ночи.

В темноте Купер бредет к палатке, где мгновенно засыпает. Вскоре его пробуждает хохот пары.

Однажды ночью они бросают карты и вместе с Линой отправляются в долгую прогулку по пересохшему речному руслу. Троица взбирается на холм, где еще темнее, где луна еле брезжит; Куп не чует под собою земли. Лина идет рядом, и вдруг ее пальцы переплетаются с пальцами Купа. Осатаневший от одиночества, он воспринимает это как тайный интимный знак. В темноте Лина вглядывается в него и отдергивает руку:

— Ой, это ты? Извини, я ошиблась.

Она отходит в сторону.

Эта женщина, которую Аксель вызволил из ошибочной жизни, очень напоминает Клэр. Ее простоватое лицо излучает душевное богатство. Через два-три дня, провожая Купера на автобус до Бейкерсфилда, она застенчиво с ним прощается. Он тычется носом в воротничок ее ковбойки. Потом чмокает в висок. Аксель, все это время обходившийся без рукопожатий, заключает его в медвежье объятье.

Во всяком случае, Купер освоил все, ради чего

приезжал. Он лишь раз-другой обыграл Язычника, но знает (хотя учитель об этом не говорит), что теперь на сдаче облапошит даже Верховный суд.

В потемках ночного автобуса он разглядывает свои руки, переворачивая ладони. У Язычника руки нежные, как у принцессы. Куп едет в Вегас, где его ждет Дорн с компанией, и вдруг чувствует себя неготовым. Время потрачено на путаную болтовню, возможно, что и психа, с которым он сидел за маленьким столом под тусклой лампочкой трейлера. Он рискует сам и подставляет других. Автобус подъезжает к Вегасу; небо над городом в пустыне будто охвачено огнем.

* * *

Война в Заливе начинается семнадцатого января 1991 года в два часа тридцать пять минут пополуночи. Но в казино Невады это разгар дня. Подвешенные телевизоры, которые обычно транслируют скачки и футбольные матчи, передают кадры американской бомбардировки. Для трех тысяч игроков, вдыхающих кондиционированный воздух «Подковы», война уже стала видеоигрой, происходящей на вымышленной планете. Звук отключен. Чередуются концертные

номера, шлюхи и массажистки по мобильникам принимают вызовы, стучат фишки — ничто не нарушает реальности казино, где «небесное око» следит за каждой сдачей, разыгранной на зеленом сукне. Одновременно в другой пустыне ночное небо озаряется оранжево-белыми всполохами взрывов. В два часа тридцать восемь минут американские вертолеты ведут ракетный обстрел, бомбардировщики-невидимки «Стелс» сбрасывают на город фугасы-пенетраторы. В последующие четыре дня произойдет одна из крупнейших высокотехнологичных боен нашей эры. Вертолеты «Кобра», штурмовики А-10, прозванные «Бородавочниками», истребители «Фантом» со своим двойником «Призрак» кружат над дорогами с отступающими иракскими войсками и поливают их термобарическим боеприпасом, летучими газами и вакуумными снарядами, дабы сожрать кислород и заставить все живое лопнуть, обвалившись в самое себя.

Дорн, его подруга Рут, Манчини и Купер сидят в кафе «Река». Час ночи. Манчини хочет играть против Братии.

— Я в тебе сомневаюсь, — говорит Дорн. — Ты отменный лицедей, но порой тебя видно насквозь. Жаль, нет Дофина, вот кто сыграл бы

простака. Стало быть, эта роль достанется мне.

Дорн главный.

Значит, я за рулем? — спрашивает Манчини.

Нет, поведет Рут. Будет лучше, если вы с Купом отшлифуете сдачу, слаженность, ходы и все прочее.

Ага, логопед за рулем. Меня насквозь видно. Получается, я не в деле вообще…

Нельзя, они учуют шайку. Знаешь, в этот вечер засветись в другом казино. Что ты узнал насчет Отри? Есть у него шулер?

Он всегда играет с корешами, не поймешь, кто у них кто. Думаю, на каждой сдаче мухлюет другой.

Предлагаю ухайдакать всех разом, вмешивается Купер.

Тогда в этом городе тебе жизни не будет. Если они жулье, то распознают подставу. Ведь ты за тем и ездил к Язычнику, чтоб научиться быть невидимкой.

Плевать!

Мне не плевать, говорит Рут. Мы тут живем. И работаем.

Дорн с Купером выходят из лифта на межэтажную площадку и лестничным маршем спускаются к трясине карточных столов. Братия

всегда играет за единственным столом в закутке, отделенном от главного зала синим шнуром. «Небесное око» зрит неусыпно, однако над столами витает грозный дух старинного «фараона». Никто не гарантирован от опасности человеческого фактора, о чем все уведомлены. Дорн в канареечной гавайской рубахе потягивает виски и пялится на Братию, выслеживающую лоха. Отри жестом приглашает к игре. Дорн с Купером мнутся. Сие ожидаемо: такие побаиваются рожденных свыше. Пантомимой они объясняют, что опрокинут еще по стаканчику и, возможно, вернутся, а затем продолжают обход казино. Часом позже они все же перешагивают синий шнур и располагаются за столом Отри, по бокам которого сидят два бандюгана; тотчас следует разъяснение: игра частная, без крупье. Техасский холдем. Так играет Братия.

На первой сдаче Дорн выигрывает тысячу. Это приманка, и он выказывает скромную радость: встряхивает длинными немытыми космами и расплывается в широкой ухмылке. Отри заводит разговор о положении в мире: ох уж эта пустыня, рассадник беспокойства. Более часа игра идет ни шатко ни валко, хорошие «руки» сменяются негодными, обычная череда удачи и

невезенья. Всякий раз Куп честно снимает колоду. По въевшейся привычке все игроки следят за его движением. Куп замечает, что игрок справа всякий раз снимает примерно одинаково. Разговор, изобилующий любопытными историями и фактами, не смолкает, но Куп сосредоточен на сдачах. Он знает: вскоре кто-нибудь сделает ход. «На мелочевке не передергивай, — наставлял Манчини. — Дождись крупного куша». И вот Купер выжидает.

По плану в определенный момент он «сдвурушничает» — сдаст две отменные комбинации: одну Отри, другую, еще лучше, себе. В колоде они лягут так, что окажутся сверху, когда снимет мужик справа. Если тот снимет как обычно, больше никаких ухищрений не потребуется — ставки пойдут по уже известным картам. Когда Куп будет готов, он подаст знак Дорну, и тот отвлечет игроков.

Игра началась за полдень, сейчас семь вечера. Бандит справа от Отри вновь сдает техасский холдем. Вскоре Дорн предлагает вдвое увеличить ставки вслепую. Через две сдачи колода попадет к Куперу. Он с Дорном при своих. Настоящая атака на них еще не началась.

Дорн пересказывает теленовости о бойне в

«рассаднике беспокойства» — американские истребители из скорострельных пулеметов поливают дороги, забитые отступающими войсками.

— Мы сбрасываем пятисотфунтовые противотанковые кассетные бомбы, которые разлетаются острейшими осколками со скоростью четыре тысячи футов в секунду. Сжигаем врагов с библейской вышины. Говорят, дороги напоминают Дайтону-Бич на весенних каникулах.

— Хватит! — рявкает Отри, но Дорн не унимается:

— Судный день… Говорят, там все обуглилось.

Купер заканчивает тасовку, «пуля» уже внизу колоды. Все молчат. Лишь Дорн расписывает подробности американской бомбардировки, но Отри поднимает руку и требует тишины. Купер дает снять, изображая поглощенность его байкой о шестилетней девочке, которая вдруг стала наизусть шпарить целые страницы из Ветхого Завета.

Купер сдает первый круг — каждому по две карты крапом вверх. Расклад:

Дорн	Икс	Отри	Игрек	Купер
К ♠	6 ♦	Т ♣	5 ♣	7 ♦
10 ♠	2 ♠	Т ♠	Д ♠	7 ♣

Отвлекая Отри от удивительно хорошей руки, Купер просит его досказать историю про девочку. Дорн ставит, Отри поднимает. Купер в игре, бандюганы пасуют. Купер расслабленно откидывается на стуле. Судьба кона решилась в тасовке. Осталось лишь сыграть руки. Он сбрасывает следующую карту и сдает флоп — три общие карты лицом вверх.

Дорн	Отри	Купер
К ♠	Т ♣	7 ♦
10 ♠	Т ♠	7 ♣

Флоп

Т ♥ 7 ♠ 4 ♣

У Дорна слабая комбинация, но он ставит, Отри с тремя тузами поднимает. Купер, тихонько напевая «Кинешься за камушком укрыться, глядь, а камушка-то нет...»,[25] отвечает. Дорн пасует. Партия ползет как черепаха.

Купер спаливает верхнюю карту и сдает «терн»,

[25] Примечания: 25

«You're gonna run to the rock for rescue, there will be no rock» — из песни «Johnny Too Bad» («Скверный Джонни», 1970) ямайской реггей-группы *Slickers;* песня прославилась после использования в саундтреке к фильму «The Harder They Come» («Тернистый путь», 1972) и неоднократно перепевалась, например, такими именитыми музыкантами, как Тадж Махал и Джон Мартин (оба — 1980).

начинающий третий круг торговли. Ерундовая бубновая восьмерка не способна повлиять на комбинации; будет еще круг торговли.

Семья-то есть? — спрашивает Отри. Взгляд его рентгеном просвечивает Купера.

Один я, тихо отвечает Куп.

А подружка?

И подружки нет. Никого, сэр. Купер прищелкивает языком. А вы женаты?

А то как же.

Отри вновь крупно ставит. Куп задумчиво перебирает фишки. Подумав, отвечает. Время близится к половине десятого, на кону почти сто тысяч долларов, в игре двое. Теперь даже Отри смолк; Куп сдает последнюю карту — «ривер» — и про себя шепчет ее номинал, переворачивая лицом вверх. Этой непритязательной червовой семеркой он испепелит и унизит Отри.

Отри				Купер
Т ♣				7 ♦
Т ♠				7 ♣
		Борд		
Т ♥	7 ♠	4 ♣	8 ♦	7 ♥

Вместе с общими картами, что лежат лицом

вверх, Отри имеет фул-хаус: три туза и две семерки. Он тотчас сдвигает все свои оставшиеся фишки в банк. Куп отвечает. Они открываются, и Куп предъявляет каре из семерок. *Voilà,*[26] говорит он.

Отри улавливает дьявольскую издевку. Купер подгребает к себе около трехсот тысяч долларов и медленно встает.

Сядь, сынок, шипит Отри.

Сядь, вторит Дорн.

Купер собирает фишки. Он поднимает взгляд к всевидящему «небесному оку», которое его проморгало, и делает ему ручкой.

— Дурак ты хренов! Пацан!

Купер косится на Дорна, расслышав его неподдельную злость. Потом идет к кассе и под взглядами компании обналичивает фишки. С межэтажной площадки смотрит Манчини.

Купер вызывает лифт, поднимается на одиннадцатый этаж, а затем лестницей спускается в гараж и высматривает машину Дорна. Идет к той, что мигнула фарами. Рут пересаживается на пассажирское сиденье.

— Все благополучно?

---

[26] Примечания: 26
Вот, извольте *(фр).*

Да.

Из темного гаража машина выезжает в пустынный мир беснующегося электричества. Через двадцать минут они за городской чертой.

Всю ночь радио передает военные сводки. Привалившись к дверце, Рут разглядывает Купера. В жизни застенчивый, он уже раскаивается в своей глупой выходке. Рут тычет его пальцем в плечо, и Куп, очнувшись, отрывает взгляд от дороги.

Ты читал «Выбор Софи»?[27] — спрашивает Рут. Однажды по радио я слышала выступление парня, написавшего эту книгу. Его спросили, над чем он сейчас работает, а он не ответил. Потом извинился и говорит: «Наверное, я уже написал свою самую личную и глубокую книгу. Еще раз вряд ли получится. Попробую сочинить что-нибудь смешное. Я знаю, смешить нелегко. Но, по крайней мере, это что-то другое». Мне ужасно понравились его слова. Я читала все его последующие книги, но, конечно, ничего смешного в них

---

[27] Примечания: 27

«Выбор Софи» (1979) — роман американского писателя, лауреата Пулитцеровской премии 1968 г. Уильяма Стайрона (1925–2006), получивший Национальную книжную премию США и оказавшийся в его творчестве последним (не считая выпущенной в 1990 г. автобиографии). В 1982 г. роман экранизирован, режиссер — Алан Пакула, в главных ролях — Мерил Стрип и Кевин Клайн, фильм был номинирован на пять «Оскаров».

нет. И конечно, назад не вернешься.

Я знаю, чуть слышно говорит Куп.

Потом Рут засыпает — к утру ей надо вернуться в Вегас. Купер крутит шкалу приемника, но о войне сообщают лишь всякую мелочь. Он понимает, что своим виртуозным и наглым выигрышем навсегда перекрыл себе дорогу в Вегас и даже Тахо. Еще на первом уроке Язычник остерегал от показухи и вспыльчивости. Как шулер он был приверженцем естественности, которая требует создать впечатление, будто ничего не происходит. С Братией Куп напортачил. Видимо, Дорн примет огонь на себя, изображая злость. До рассвета Рут вернет машину в гараж и будет вне подозрений.

На короткой остановке они выпивают в придорожном баре. Вернувшись в машину, Купер раскладывает деньги на четыре равные кучки и прячет свою долю в старую сумку с логотипом «Северо-Западные авиалинии». Остался последний отрезок пути, в окна с опущенными стеклами задувает ветерок. Вдруг Куп притормаживает.

Что случилось? — спрашивает Рут.

Куп объезжает сову, пригревшуюся на теплом асфальте. Перед автовокзалом Тонопы еще секунду он не выпускает руль, словно впереди долгие

мили пути. Потом выбирается из машины, Рут подходит к водительской дверце и обнимает его. Сейчас Куп исчезнет. Больше никогда он не увидит своих друзей. Он берет сумку и уходит. Проезжая мимо, Рут сигналит и машет рукой, но Куп не оборачивается. Он уже стал чужаком.

В половине восьмого утра Дорн и Манчини приходят завтракать в кафе «Река» и застают там Рут, которая в одиночестве сидит посреди небольшого кавардака. Четыре официантки в резиновых сапогах бродят по разлившемуся искусственному потоку и шарят под валунами, пытаясь отыскать заглушку помпы, ночью сломавшейся.

Река скорбит, усмехается Манчини.

Троица знает, что «преемник» Купер пожизненно занесен в черные списки всех крупных казино. Еще они знают, что неким образом накрепко с ним связаны. Но об этом никто не говорит, все наблюдают за расшалившимися официантками, которые хохочут и брызгаются водой.

Le Manouche[28]

Она шагала по лесной тропинке в кайме утесника, лицо и волосы ее пятнал свет, пробивавшийся сквозь ветви высоких дубов; после давешней встречи с охотниками шаг ее был ходок. Четыре мужика с ружьями и их собаки стояли на перекрестье троп, и те и другие лаялись; скабрезностей на французском в свой адрес она будто бы не поняла. Витавшая в воздухе угроза ее испугала. Тем не менее от дневных прогулок Анна не отказалась. Лесной тропой она выбиралась на опушку, затем берегом реки выходила на мощеную дорогу, которая через полмили приводила в деревню Демю. Временами ходьба ее напоминала трусцу. В деревне она покупала продукты и, уложив их в рюкзак, возвращалась домой. На такой скорости туда и обратно оборачивалась за полтора часа. Анна снимала усадьбу. Поначалу она решила, что это замок, однако на замок жилище не тянуло. Анна не бывала во французских замках и до встречи с опасными мужиками не видела охотничьих собак.

---

[28] Примечания: 28
Цыган *(фр.).*

Почти все время она проводила за кухонным столом, читая рукописи и дневники Люсьена Сегуры. Некогда усадьба принадлежала писателю, и Анне казалось, что вместе с ним она кружится в благопристойном многоголосом танце. Она погружалась в поиск деталей, которые отсылали к жизни этого француза, глубоко запрятанной в его произведениях, и, оторвавшись от работы, не сразу понимала, что находится в том самом доме, где обитал он. Кто-то из коллег назвал ее занятие «уборкой в жилище толмача». Она знала, что если каменной лестницей подняться на один этаж и свернуть налево, то окажешься в спальне, под окном которой качаются ветви огромного дуба, много-много лет назад видевшие хозяина комнаты за туалетом.

Раз в неделю появлялась мадам Кью с мужем. Она молча убиралась в доме, а мсье Кью обходил сад, очищая клумбы от упавших веток. Еще он был деревенским почтальоном. Потрудившись до обеда, пара отбывала. Без постояльцев супруги наезжали чаще и вели себя в доме как полноправная прислуга. Нынче же они выбирались из голубого «рено» и сообщали новости о событиях в мире, местных политиках и всевозможных войнах. Мсье Кью обозревал луг и решал, что тот

потерпит до следующей недели, а мадам Кью пыталась обучить Анну основам готовки кроличьего рагу, дабы одним большим блюдом на три дня избавиться от возни с обедом.

Попыхивая трубкой, мсье Кью по периметру обходил сад, прикидывая, насколько удалась стрижка деревьев. Затем огибал дом и сквозь открытую дверь черного хода разглядывал Анну, которая, склонившись над листом бумаги или толстой книгой, никогда его не замечала, и, покачав головой, бесшумно уходил. Жилица — американка, поведала жена. Ростом с мсье Кью, светловолосая, коротко стриженная, она выглядела крепкой и здоровой. Как-то раз на своем новосветском французском она спросила, где лучше гулять, и он набросал план удобных тропинок, вившихся через чужие владения и пересекавших реку. Не забывайте запирать калитки, наставлял мсье Кью. Прежний владелец, едва приехав, командировал его за игристым с арманьякской винокурни или с другим поручением. Нынешняя гостья иная. В город не рвется. Ей и тут хорошо. В еженедельный визит супругов полчасика с ними поболтает и назад к столу, к своим книгам. Лишь иногда сходит в деревню. Как почтальон, мсье Кью беспрестанно куда-ни-

будь мотался, непоседливость у него в крови. Он бы не смог целыми днями торчать дома. И вот когда она пригласила его в дом и узким коридором провела на кухню с тем самым открытым черным ходом, смотревшим на выгон, с которого он за ней наблюдал, и протянула ему листок бумаги, мсье Кью начертил для нее идеальный план, ибо почтальонская служба одарила его знанием точных расстояний, границ владений и местоположений бродов. Обозначив дом треугольником, а клумбу с лекарственными травами — стремительным овалом, он воссоздал внешний мир, который заканчивался дальними рощами и оленьими заповедниками, опуская места, изобилующие туристами, а потому не годные для прогулок. Этот план Анна назвала оберегом, который она непременно сохранит на память и, обрамив, повесит в своей комнате на Дивисадеро-стрит в Сан-Франциско. В ней жила затаенная мысль: если все станет хуже некуда, она всегда сможет здесь укрыться.

На прогулки Анна брала с собой план. После встречи с охотниками она сменила юбку на джинсы и на десять минут сократила полуторачасовое гулянье. Сейчас неровная каменистая тропинка, вившаяся меж утесника, замедляла ее шаг. За

ноги цеплялся пахучий можжевельник, сквозь листву пробивались солнечные лучи. Любуясь красотой дробленого света, Анна приостановилась и услышала мелодию.

Пела женщина. Если б Анна услышала мужские голоса, она бы не пошла на зов песни. Но та манила. Чистый, как родник, женский голос, ничем не поддержанный, выводил чрезвычайно простенькую мелодию. На секунду Анна замерла. С ветки на ветку неуклюже скакал воробей, явно несведущий в музыке. Анна зашагала к опушке, но пару раз остановилась, пытаясь распознать мелодию.

На полянке она увидела женщину, возле которой на стуле сидел мужчина, аккомпанировавший на чем-то вроде гитары. Поначалу музыканты ее не заметили, но, видимо, что-то почуяли — может, расслышали внезапную лесную тишину; женщина обернулась, смолкла и ушла прочь, оставив мужчину в одиночестве.

Франция означала покой и безвестность. Анна ни с кем не виделась, кроме мсье и мадам Кью. В доме писателя ничто не напоминало об Америке. Она спасалась от разнообразных аспектов своей профессии — знакомств, крайних сроков, просьб о предисловиях, — которые в реальной жизни

были ее насущными обязанностями. За все время пребывания в департаменте Жер ее выбила из колеи лишь встреча с охотниками, когда вслед ей мужики похабно егозили языком и протыкали воздух согнутой в локте рукой. В скромном доме жилось легко, работа ее была почти бесцельной, словно она вступала в новую жизнь. Ей нравилось заполнять блокнот обрывочными записями и даже рисунками, весьма далекими от ее исследования. Услышав за открытой дверью птичью трель, она пыталась звукописью передать ее на бумаге. И делала это при всяком более-менее отчетливом чириканье. Пролистывая свои сумасшедшие заметки, Анна видела целые страницы, отданные птичьему пению, а также зарисовки чертополоха и «рено» четы Кью.

Человек с гитарой посмотрел на Анну. Надо было что-нибудь сказать, дабы не выглядеть бестактной, и она подошла ближе, пробираясь сквозь буйную траву.

Здравствуйте. Извините.

Получалось, она помешала ему лишь затем, чтоб извиниться!

Анна ничуть не испугалась. Не потому, что незнакомец держал в руках не ружье, а гитару; нет, он походил на человека, которого только

что выпустили из убежища, но вновь загоняют в подземелье. На последних шагах она вдруг сообразила, что из леса слышала ритмичные переборы, которые вели мелодию, — вот почему женщине не требовалась поддержка. *Она* была аккомпанементом. В памяти вновь возникла та мелодия, но звучала она уже иначе. Значит, вот кто привлек ее на опушку.

Гитара обшарпанная. Ладони музыканта в комариных укусах и шрамах. Издали казалось, что он при параде, но вблизи стали заметны его мятые брюки, замызганные манжеты рубашки и жилетка, подрастерявшая пуговицы. Но всего примечательнее — грубые натруженные руки.

В тени деревьев, за которыми скрылась женщина, Анна разглядела фургон.

Чуть больше недели назад, во второй вечер после приезда в Демю, она и ее подруга Бранка стояли на этой самой травянистой опушке, похожей на плоское лунное пастбище. В летнем платье Анна прошлась «колесом» и нарвала золотистый ракитник, в темноте казавшийся бесцветным. Она знать не знала о фургоне и даже не предполагала в округе других обитателей, кроме себя и Бранки, которая привезла ее из Парижа. Бранка осталась всего на денек. Именно

она через свою архитектурную фирму устроила аренду писательского дома. Потом они вернулись в усадьбу, одолевая низкий кустарник и отыскивая проходы в живой изгороди, четко видной в лунном свете.

Если подойти к незнакомцу слишком близко, это будет вторжением на его территорию. Если остаться от него шагах в пяти-шести, это послужит знаком боязни, которой вовсе не было. Незнакомец держался спокойно, одной рукой обняв гитару, точно любимую собаку.

Я вам помешала, извините. Уж больно красиво.

По правде, ничего особенного в музыке не было. Всего лишь странная мелодия, вдруг услышанная в лесу. Нечто неожиданное. Оттого, возможно, и красивое. Анна почти не солгала. Музыка умиротворяла — даже зудящие насекомые ненадолго стихли.

Я не знала, что вы здесь живете. Анна глянула на тихие деревья. Как-то вечером я сюда приходила.

Пальцы человека пробежали по струнам, веером раскрыв шесть нот. Он усмехнулся и сыграл мелодию, в которой слышались и колокольчики, и барабаны, и недостающий голос.

Позже он рассказал, что мальчишкой на этой полянке аккомпанировал матери. Играя, он смотрел не на лады, а на мамино лицо, ибо лишь глаза ее (один — скворушка, другой — лесной дрозд) оповещали о быстрых сменах мелодии, и он, выбирая ноты, словно отсчитывал дорожные вехи, мелькавшие в ее стремительном полете. Еще тогда он понял: музыка — это сеть, что захватит все вокруг — и полевых букашек, и ветер в деревьях, — превратив свой улов в дар, который ты поднесешь другу, точно пригоршню родниковой воды.

Вы не запели, сказал незнакомец, окончив мелодию. Не поддержали меня.

Нет. Я бы стала пятым колесом.

У музыки много колес, потому-то с ней радостно.

Та женщина, что пела… Анна осеклась, не зная, надо ли спрашивать.

Она берет у меня уроки. Раз в неделю приходит из деревни. Вы живете в доме с голубятней?

Анна кивнула.

Сложив губы трубочкой, человек сдул пчелу, усевшуюся на гитарный гриф. После быстрого круга упрямица вернулась на прежнее место, и тогда он щелчком сбил ее в траву.

Меня зовут Рафаэль, если вам интересно.

Ах да, владелец усадьбы о вас говорил. Мол, вы тут бываете. Анна огляделась. Пожалуй, мне пора домой.

Я вас провожу.

Тропинкой он пренебрег. Повел ее сквозь кусты. Они сгибались в три погибели, пролезая под ветками деревьев. В двух ярдах справа вилась тропинка, но он шел напролом, как бредет корова или летит ворона, ведомые инстинктом. В результате дорога к дому вышла гораздо длиннее. Умиротворение, в лесу снизошедшее на Анну, сменилось царапинами и раздражением к провожатому.

У кухонной двери она спросила, не хочет ли он пить, и затем, наполнив две чашки под краном, фыркнувшим сильной струей, пригласила его к столу, заваленному книгами и бумагами. Освобождая себе место, гость не глядя отпихнул их в сторону. Глаза его по-воровски обшарили кухню. Не надо бы приглашать незнакомца в дом, но Анна уже давно ни с кем не говорила. Взглядом, светившимся то ли любопытством, то ли радостью, гость пожирал обстановку, картины и саму хозяйку. С тем же интересом он разглядывал красную эмалированную чашку в своих руках.

Мой отец слыл вором, сказал гитарист, будто прочитав мысли Анны. Но он не крал в домах, куда его приглашали.

Весьма благородно. Анна довольно скоро нашлась с ответной репликой, чтобы не выдать смущения от полученной информации.

И я так думаю. Но ремесло научило его — а он обучил меня — ценить недоступные вещи. Скажем, здесь для меня самая большая ценность — этот синий стол. Хотя я знаю, что он ничего не стоит.

Ваш отец живет неподалеку?

Он не француз. Но после войны домой не вернулся и встретил здесь мою мать. На войне он был ранен. Потом сколотил маленькую шайку, что подламывала — верное слово? — дома, куда их не звали. На фронте было тяжело, и, наверное, он, как все ветераны, считал, что ему задолжали больше, чем дали.

Значит, он был домушник. Странное словцо. Как, вы сказали, вас зовут?

Рафаэль.

И что ваш отец?

Он не хотел, чтоб я стал вором.

А мать? Она тоже была воровкой?

Рафаэль ухмыльнулся.

Они познакомились на деле?

Почти. В каталажке. Мать подрабатывала в полицейском участке. Наверное, отец ее очаровал, хоть и был старше. Можно еще воды?

Конечно. Анна взяла его чашку и подошла к раковине. Недавно в лесу я встретила каких-то странных охотников.

Тут полно ужасных людей. Вроде меня.

Она рассмеялась.

Здесь большой огород, верно? Можно взглянуть? Я бы что-нибудь сготовил.

Выход в сад через эту дверь. Рвите что угодно…

Анна умылась в раковине под конопатым зеркалом и махровой мочалкой, смоченной холодной водой, обтерла плечи и ноги. Потом вышла в сад, где Рафаэль, затягиваясь сигаретой, озирал грядки.

Те охотники, они деревенские?

Бог их знает. Мы тут сами по себе.

Полагаю, вы бы не сказали, даже если б знали… По правде, я испугалась.

Из внутреннего кармана пиджака он достал зеленую тряпицу:

В следующий раз повяжите ее на руку, и вас никто не тронет.

Анна взяла тряпицу.

Ваш отец англичанин? Вы очень хорошо говорите…

Он свободно изъяснялся по-английски.

Здесь он бывает?

Последнее время нет.

Если вдруг появится, я буду рада пригласить его в гости.

Сев на корточки, Рафаэль обрывал фасоль и сбрасывал ее в зеленую тряпицу, которую подставила Анна.

У вас мясо найдется?

Сейчас отнесу фасоль и отрежу пару кусков.

Чуть погодя Рафаэль пришел в кухню и, выгрузив из кармана пучок розмарина и четыре фиги, занялся салатом, для которого первым делом нашинковал чеснок.

Как же вам и вашему очаровательному отцу удалось сойти с кривой дорожки?

Анна чувствовала себя с ним как с другом детства, которого время превратило в коренастого толстяка. Теперь его музыкальные пальцы кубиками нарезали помидоры. Взгляд его, прежде шнырявший по комнате, был открыт. Незнакомая обстановка его ничуть не смущала, в общении он был совершенно естествен. И потому ее удивила его нерешительность в постели, где они

очутились через три дня после первой трапезы. Он просто лежал рядом. Вся его былая легкость превратилась в скованность и бессилие, словно когда-то он перегорел. Ничего не было, они просто держали друг друга в объятьях. Ему было довольно того, что он чувствует на своей груди ее дыхание и разглядывает родинку на ее плече. С мыслью об этом темном пятнышке он и заснул.

Абсолютно не себялюбивый, он посмеивался над своим пузом и далекой от идеала статью. После наконец-то состоявшейся близости (удовлетворившей обоих, надеялась Анна) он голышом вылез из постели, размял ноги и, высунувшись из окна, закурил сигарету, не заботясь о впечатлении, какое производит его освещенный солнцем зад. Позже он сказал, что ему плевать на свою «фигуру». Таких людей Анна еще не встречала. Казалось, его ничто не омрачает. Но потом он рассказал о своей прежней любви, оглушившей его чуть не насмерть, после чего он еле оправился. Анна была первой, к кому он вынырнул из омута одиночества. В мире полно таких, как мы, ответила Анна, подранков любви — вроде бы самого естественного чувства.

Есть песня о том, что с ним случилось, но он ее больше не исполняет, поведал Рафаэль. В ней

говорится о женщине, которая среди ночи вылезла из постели и покинула его. Ее видели в северных деревнях, но, когда он туда добирался, ее уже не было. Песня о бесконечных поисках того, кто прежде редко откровенничал. Под его огрубелыми пальцами гитара раскрывала душу. Он пел для тех, кто вырос на его музыке и знал, как ловко он избегает всеобщего внимания. Его считали скромником и хитрецом, но теперь он выставлял напоказ свое изрубцованное нутро. «Если кто-нибудь вдруг ее встретит, свистните мне, дайте знать…» — пел он, и в ответ публика привычно свистела и орала. В песне, где все окна и двери открыты, не спрячешься, и просто так из нее не уйдешь, а потому эхо зрительских откликов гудело в нем и после выступления.

До того как Анна с ним переспала, он не ожидал от нее интереса к себе. Совместные трапезы выглядели невинным флиртом. Никто из них еще не полюбил другого, и потому в тот полдень, когда они очнулись в объятьях друг друга, в их близости не было ничего фатального или судьбоносного. Крохотную пустоту между ними заполнял аромат кинзы. Перед тем они ели салат, куда он накрошил свою любимую зелень. В карманах он всегда носил пучки базилика или мяты и потому всегда

мог сотворить себе обед из хлебной горбушки.

В день их знакомства, когда Анна поднялась умыться, он полусонным взглядом окинул зеленевшие грядки и шагнул в глубокую впадину, столетие назад бывшую прудом, из которого поили скотину. Постояв в глубокой тени дуба, он повалился в траву и стал невидимым для Анны, выглянувшей из окна.

По первому впечатлению, все его окружавшее Рафаэль воспринимал как нечто не свое: листья растений он обрывал с той же небрежностью, с какой однажды обхватил запястье Анны, чуть ее не оцарапав. Глядя на его руку в шрамах, она никак не откликнулась, и только пульс ее в хватке чужих пальцев забился быстрее. Она подумала о музыке, какую умели извлекать эти изработанные руки. Лишь когда он выпустил ее запястье, она уткнулась лицом в его грудь, которая пахла базиликом, спрятанным в кармане рубашки.

Пойдем, сказала она. Осторожнее, не споткнись. По каменной лестнице, на которой уместилась бы тройка лошадей, они поднялись в ее комнатку, где Анна включила электрообогреватель, засветившийся тремя красными спиралями.

Она рассмеялась, когда Рафаэль весьма церемонно запер дверь. Он дернул плечом.

Это и есть «галльский жест»? — спросила Анна.

Жесть? — опешил Рафаэль.

Жест! Знаком такой оборот речи?

Оборот? Снова недоуменное пожатие плечами. Это самая маленькая комната в огромном доме. Почему здесь?

Не нравится?

Надо занимать как можно меньше места. Но не чересчур мало.

В других комнатах мне не по себе от их размера.

Рафаэль присел на кровать. Она скинула черные джинсы и голубую рубашку. Крепкая, высокая, прямая. От закатанных рукавов выше локтя кайма загара. Он подметил зеркало, низко подвешенное над низкой раковиной.

Эта комната — детская.

Сейчас Анне нужно «как можно меньше места». Лишь тогда приоткрывается правда о ее жизни. Иногда возникает потребность укрыться в чужой обстановке, чтобы оттуда вновь взглянуть на свою смятенную юность и почувствовать до сих пор живую ярость, охватившую ее, когда, голая и окровавленная, она втиснулась между отцом и Купом, ярость, искорежившую ее и всех

остальных. Анна сторонится любого проявления злобы и жестокости и все еще боится подлинной близости. Ее прошлое скрыто от всех. С любовниками и приятельницами она никогда не говорит о своем детстве (но всегда расспрашивает о их родных). Зверское избиение Купа, стеклянный осколок в плече отца, которого она пыталась убить. Даже сейчас небезопасно погружаться в ту полуденную сцену. Вход закрыт стеной черного света. Но то, что было, искалечило всех, включая Клэр. Анна представляет сестру, которая верхом едет по горной гряде: на запястьях ее брякают колокольцы, извещающие зверье о ее приближении; Клэр знает обо всех возможных опасностях. И представляет себя в архивах, где вновь и вновь раскапывает чужое прошлое, потому что от своего никуда не деться.

Анна и Рафаэль сохраняют формальность в отношениях, что заставляет их быть бережнее друг к другу. Они вступили в свою дружбу, точно средневековые одиночки, что сошлись на ночь, прежде чем пускаться в путь, в конце которого супружество или раздор. И потому Анна не понимает, что подмеченное в Рафаэле легкомыслие вовсе не суть его натуры (если не брать в расчет солдатскую меткость, с какой он сшиб пчелу с

гитары), а он почти ничего не знает о ней. Кто она? Кто эта женщина, что привела его в комнату размером с медкабинет, где были едва ли не все ее пожитки: книги, дневники, паспорт, аккуратно свернутая карта, архивные пленки и мыло, захваченное из другого мира. Разве опрятное собрание этих вещиц передает ее суть? Вот так мы влюбляемся в призраков.

В первые дни своего пребывания в Демю Анна наблюдала за тремя ястребами, что в охоте за пропитанием низко носились над лугами, ныряя в туман. Она видела дроздов, нашедших приют на тополе, и сумах, поселившийся у стены дома. Однажды, проходя через луг, она увидела соседское белье, для просушки разложенное на траве, и пустую тачку, в которой, видимо, привезли мокрую поклажу. Как-то раз на кухне она задремала, и по руке ее шмыгнула зеленая ящерица. В старых манускриптах она прочла, что здешние трубадуры славились умением подражать птичьим трелям, чем, возможно, повлияли на миграцию пернатых. Мадам Кью поведала, что при первых заморозках ее муж укутает соломой и мешковиной водяной насос и такой же одежкой укроет стволы и нижние ветки миндаля на террасе.

Из таких деталей частично воссоздается фон

писательской жизни. В Европе все имеет касательство к истории и литературе. Безансон прославился семинарией, в которой учился Жюльен Сорель из «Красного и черного». Строение из грубого камня до сих пор живо, его окутывают сумерки, густо пропитанные ароматом соседствующих лип. Есть городки и поселки, запечатленные на бальзаковских страницах. Ангулем. Сен-Ланж. Со. «Я родилась в Бальзаке — он стал моей колыбелью, моим лесом, моими путешествиями… все сочинил он», — писала Колетт, вспоминая юность. Позже она сама изобрела пейзаж Сен-Савер-ан-Пюиз. Здесь, в Гаскони, где родился вымышленный Д'Артаньян, жил и сгинул писатель Люсьен Сегура, сочинявший странные стихи и романы.

Анна отстраняется от оранжевой лилии, над которой, собирая пыльцу, реет пчела. Наверное, в какой-нибудь день 1561 года предки этой пчелы точно так же карабкались по стеблю цикория, здесь или возле той отдаленной церкви. Вон привратник на велосипеде, едет открывать храм. Здесь всегда какая-нибудь пчела слушала католическую музыку и наблюдала за прибытием служки. Прошлое переносится в настоящее через мелочи. Вот лилия согнулась под гнетом своего

постоянства. Может быть, Ричард Львиное Сердце, направлявшийся к крестоносцам в Луберон, склонялся к тому же цветку и вдыхал тот же аромат.

Вскоре после их знакомства Анна понимает, что здесь Рафаэлю известна каждая травинка. Липовую аллею к кладбищу он знает с детства — тогда деревья казались ему великанами. Потом он приводит ее на опушку, где они встретились, и говорит:

— Здесь утонул старик-писатель. Давным-давно тут было озерцо.

Мальчишкой Рафаэль затемно выбирался из родительского фургона и залезал на его крышу, чтобы встретить утреннюю зарю, расстилавшуюся по лугам. Вечером после их первой близости он вылез из постели и, покинув крохотную комнату, скрылся в темноте, окутавшей поля. Через опушку, полнившуюся шорохом ее незримых обитателей, он, ориентируясь по шелесту деревьев, вышел точно к своему жилью.

Куда ты уходишь? — однажды спросила Анна. Домой?

Да.

Я бы пошла с тобой.

Койка узкая, не выспишься.

Поспим на воздухе.

Ладно, как-нибудь.

Ночь дарила бесформенность, в которой все имело смысл. Будто тьма владела скрытым музыкальным языком. Порой он даже не запаливал керосиновую лампу, висевшую в дверном проеме фургона. Брал гитару и, сойдя по трехступенчатой лесенке, усаживался на стул. На ум приходили слова Джанго Рейнхардта[29] «Я не тружусь, я возникаю…», и он представлял, как бесподобный музыкант величаво выскальзывает из тьмы, дабы бесследно затеряться в его мастерстве. Конечно, можно возникнуть наподобие короля восемнадцатого века, о прибытии которого возвещают костры на холмах и колокольный звон. Так возникали многие музыканты, но ему это не нужно. Он растворялся во тьме, стрекоте ночных букашек и плеске реки. Гитарный аккорд был всего лишь откликом. Он еще ничего не достиг. Встреча с Анной произошла в позднее лето его жизни, и он не знал, сумеет ли когда-нибудь вернуться на

---

[29] Примечания: 29

Жан Батист Рейнхардт, более известный как Джанго Рейнхардт (1910–1953) — джазмен-гитарист, выходец из семьи кочевых цыган; один из основателей уникального гитарного стиля джаз-мануш (цыганский джаз). В восемнадцать лет лишился трех пальцев на левой руке (остались указательный и средний) и разработал собственную технику игры на гитаре. В его честь назван фестиваль цыганского джаза, ежегодно проходящий в Нью-Йорке.

каторгу творчества и обрести состояние, нужное для сочинения даже простенькой песни. Пока же хватало того, что он растворялся во тьме. Или по памяти наигрывал чью-то старую мелодию, которую любила мать и насвистывал отец, когда брал его на прогулку; он всегда напевал или насвистывал одну и ту же песенку. Прежде Рафаэль ходил по деревням, собачился из-за оплаты, сочинял мелодии, воровал гармонию, обрубая руки-ноги старой песне и используя ее торс, но теперь он полюбил просто играть в одиночестве. Можно ли истратить жизнь на талант? А если талант не используешь, это предательство? «Я не тружусь, я возникаю…», и он представлял, как бесподобный музыкант величаво выскальзывает из тьмы, дабы бесследно затеряться в его мастерстве. Конечно, можно возникнуть наподобие короля восемнадцатого века, о прибытии которого возвещают костры на холмах и колокольный звон. Так возникали многие музыканты, но ему это не нужно. Он растворялся во тьме, стрекоте ночных букашек и плеске реки. Гитарный аккорд был всего лишь откликом. Он еще ничего не достиг. Встреча с Анной произошла в позднее лето его жизни, и он не знал, сумеет ли когда-нибудь вернуться на каторгу творчества и

обрести состояние, нужное для сочинения даже простенькой песни. Пока же хватало того, что он растворялся во тьме. Или по памяти наигрывал чью-то старую мелодию, которую любила мать и насвистывал отец, когда брал его на прогулку; он всегда напевал или насвистывал одну и ту же песенку. Прежде Рафаэль ходил по деревням, собачился из-за оплаты, сочинял мелодии, воровал гармонию, обрубая руки-ноги старой песне и используя ее торс, но теперь он полюбил просто играть в одиночестве. Можно ли истратить жизнь на талант? А если талант не используешь, это предательство? «Я не тружусь, я возникаю…», и он представлял, как бесподобный музыкант величаво выскальзывает из тьмы, дабы бесследно затеряться в его мастерстве. Конечно, можно возникнуть наподобие короля восемнадцатого века, о прибытии которого возвещают костры на холмах и колокольный звон. Так возникали многие музыканты, но ему это не нужно. Он растворялся во тьме, стрекоте ночных букашек и плеске реки. Гитарный аккорд был всего лишь откликом. Он еще ничего не достиг. Встреча с Анной произошла в позднее лето его жизни, и он не знал, сумеет ли когда-нибудь вернуться на каторгу творчества и обрести состояние, нужное

для сочинения даже простенькой песни. Пока же хватало того, что он растворялся во тьме. Или по памяти наигрывал чью-то старую мелодию, которую любила мать и насвистывал отец, когда брал его на прогулку; он всегда напевал или насвистывал одну и ту же песенку. Прежде Рафаэль ходил по деревням, собачился из-за оплаты, сочинял мелодии, воровал гармонию, обрубая руки-ноги старой песне и используя ее торс, но теперь он полюбил просто играть в одиночестве. Можно ли истратить жизнь на талант? А если талант не используешь, это предательство?

В тот день Анна тихонько подошла сзади и надела ему наушники плеера. Помнится, он чистил почки; это был лишь костяк мелодии, почти чистый лист, набросок. Он узнал автора, но не пьесу.

— Бах, — сказала Анна. — Поздний Бах.

Нож сомнамбулой шинковал потроха и грибы, на сковороде, присыпанной сухой горчицей, шипел бренди, а он брел сквозь хилую чащу музыки, в которой недосказанность мыслей и чувств напоминала бездумную воркотню вяхиря.

Бугорками мозолистой ладони Рафаэль провел по струнам и прислушался. Музыка — все, что ей сродно. Ночной воздух, полный звуков, забирался

за воротник и холодил лицо.

Расскажи об отце, попросила Анна.

Ох…

Стыдишься, что ли? Кажется, он познакомился с твоей матерью, когда грабил полицейский участок?

Вообще-то, он не грабил участок; просто надо было кое-что забрать у одного арестанта. А это куда труднее.

Он хотел обокрасть заключенного? Они что, враждовали?

В руках арестанта было что-то важное для отцова друга. Не знаю, чем важное.

А что же друг? Почему он сам не взялся?

Это была женщина. Она тоже сидела. В той же каталажке. Обычно там держали мужчин.

Естественно.

Не скажи, иногда больше набиралось женщин. Но не в тот раз.

А твоя мать, значит, работала в участке…

Да, на часок подменяла тюремщика, когда тот обедал. К арестантам она не совалась, но ключи ей оставляли — вдруг там пожар или еще что. Дело было в городке неподалеку от бельгийской границы. Крутых уголовников там не водилось. Надо было обшмонать одного зэка. Задачка хит-

рая.

И что?

Отец обрядился в нечто похожее на форму и притопал в участок: в руках шланг, за спиной канистра. Извините, говорит, за опоздание, но раньше не получилось. «Давайте, — говорит, — скоренько, на сегодня у меня еще три тюрьмы». Матушка сидит за столом. Ни сном ни духом про что он толкует. Никто ее ни о чем не уведомил. «Когда закончу, вы тут распишитесь», — говорит папаша и сует ей какие-то бланки, проложенные копиркой. Только что закончилась война, без бумажки шагу не ступишь. «Здесь одни мужчины?» — спрашивает отец, и мать отвечает, мол, есть и женщина. Отец вроде как насупился. «Тогда, — говорит, — понадобится ваша помощь».

Он, дескать, собирается дустом продезинфицировать камеры и самих арестантов, сообщает папаша, для чего последние должны сдать одежду и вещи, чтоб не промокли. «Как это?» — не возьмет в толк матушка. «Сырость. Мокро. Вроде потопа». — «Ah. Je comprends».[30]

Je comprends, повторяет Анна. Они с Рафаэлем лежат в постели.

---

[30] Примечания: 30

А, понимаю *(фр)*.

Отец сообщает новость арестантам, а моя будущая матушка извещает арестантку. Раздевшись догола, мужики просовывают одежду сквозь решетки. Папаша (пока еще тоже будущий) уносит шмотки в контору и опрыскивает их дустом. В округе жуткое нашествие клещей и вшей, стращает он, в одной тюрьме двое заключенных уже скопытились. Затем орошает камеры, из которых все вынесено, и окатывает мужиков, спереди и сзади. После процедуры всем велено десять минут не шевелиться.

Матушка приносит вещи узницы, и отец, проверив, нет ли вшей и клещей, присыпает их дустом. Зэчку опрыскивать не надо, говорит он, потому как, странное дело, на бабах эти твари не живут. Матушка удивлена, но раз человек говорит, значит, так оно и есть. Отец перетряхивает арестантскую одежду, находит бумажку, из-за которой весь сыр-бор, и запихивает ее в башмак подруги. Мужики возвращаются в камеры, отец их благодарит, сообщает арестантке, что в ее одежде найдены три клеща, и, поручавшись с матушкой, отбывает восвояси.

Но перед тем дает ей подписать бумагу, где, мол, надо указать свой возраст, род занятий и адрес. Мать написала «кочевая», как тогда на-

зывали цыган. Она была *manouche.* Разумеется, полицейские этого не знали, иначе она бы никогда не получила места в участке. Адреса у нее не имелось, только стоянка за городской околицей, где в фургоне проживала ее семья. Вот так мой отец встретил тайну под именем Ария.

Все прошло шито-крыто. Тюремщик вернулся с обеда и только зажал нос от дезинфекционной вони. Лишь на другой день арестант завопил, что его обокрали. К тому времени отец уже обхаживал Арию, чье имя он узнал из липового бланка. После войны папаша колесил по Италии, а потом его занесло в Бельгию, где было легче привычным способом добывать деньги. Ранение не мешало вернуться к воровскому промыслу.

Значит, они поженились?

Свадьбы не было, но она стала его женой. Он поселился в ее фургоне. Мать лишь раз упомянула, что до войны он был женат. Война многих раскидала. Была одна жизнь, стала другая. Кое-кто решил не возвращаться к прошлому.

Война — удобная отговорка.

Да, но отец-то по уши влюбился. Мать была много моложе. Он был не из ревнивцев — ведь вор все считает «общим», — но теперь бросил прежние замашки и стал жить по ее правилам. В

той среде строгий нравственный устав.

Значит, Ария…

Да. Ария. И мой отец.

Повернись ко мне… Все это правда?

Может, за давностью что-то стерлось. Но именно так, под видом дезинфектора, он познакомился с матерью.

Наверное, есть что о нем порассказать.

Да уж. Раз, когда полиция шерстила табор, он переоделся женщиной. Целый месяц ходил в женском наряде, пока буча не улеглась. В юности он отмотал срок и решил, что больше никогда не сядет.

Его можно понять.

Дело не в том: он боялся, что к матери начнут подъезжать другие мужики. Думаю, она была ему верна, но тут — поди знай…

Ария, повторила Анна, будто пробуя слово на вкус.

После дезинфекции он смекнул, что до прихода тюремщика еще минут пятнадцать, и, подсев к девушке, в лоб спросил, не желает ли она с ним встретиться. Девица разглядывала карты. То так их разложит, то этак. Обрывок зеленой ленты перехватывал ее смоляные волосы. Не говоря ни слова, она придвинула ему колоду. Он снял и вы-

тянул карту. В картах Таро он ничего не понимал и лишь смотрел, как девушка выкладывает их на столе. Потом она велела взять еще одну карту. Он глянул на часы над ее красивой головкой:

— Боюсь показаться невежей, но мне пора.

Девушка молча перекладывала карты, словно что-то в них читая, и лишь слегка кивнула, когда он выскользнул за дверь.

Ей было незачем смотреть на его лицо и странно темные руки, ибо карты неизмеримо достовернее сказали о будущей встрече. Через окно он заглянул в комнату: склонившись к столу, девушка рассматривала карты.

На другой вечер он пришел в ее фургон. Она смерила его взглядом, словно удостоверяясь, что получила желаемое. В нем угадывался будущий ревнивец; наверное, война заставила его искать безусловной надежности.

Предавая жену, от Арии он требовал верности. Как давеча в каталажке, она промолчала, не желая зарекаться от судьбы и случая. Ничего нельзя обещать навеки, да и сам он не образчик нравственности, чтобы требовать обеты. За все совместные годы она ни разу не успокоила его заверением в своей верности, чего так хотелось человеку, внезапно осознавшему, что собствен-

ность священна.

Рафаэль поведал не все. В семь лет он еще спал рядом с матерью, которую воспринимал как центр вселенной, обнимая ее с тем несомненным полноправием, с каким мальчик обнимает своего пса. В двадцать он голышом купался с ней в реке. Для него нагота была естественна, и он ничуть не стеснялся Анны, когда голый курил у окна, сосредоточенный лишь на огоньке сигареты и воркотне голубей, нашедших приют за обветшалой стеной. Если б Анна спросила, он рассказал бы (а может, и нет) о том, как мать, в ком всегда жила смесь основательности и неприкрытого желания, оберегала тайну своей верности, что подобна крепостному рву, который то ли перейдешь, то ли нет. Бывало, мать что-то ему шепнет и поцелуем в ухо запечатает секрет, чтоб никому не разболтал.

Здорово, что у тебя была мать, такая мать.

Я знаю.

Ему казалось, что тепло Анны просто заменило грудь Арии, в которую когда-то давно он утыкался лицом.

Анна просыпается рано и садится за перевод скудных текстов Люсьена Сегуры. Почти всю жизнь он пребывал в безвестности: поэт и автор

иеремиады о Первой мировой войне — вот и все сведения. За годы после его смерти память о нем канула в здешнюю землю, соотечественниками он почти забыт. Анне любы подобные чужаки истории: они важны, как подземные реки. Одна в постели, она просыпается в последнем пристанище Люсьена Сегуры, варит кофе и к восьми уже за работой. О Рафаэле вспоминает лишь за полдень, когда он вышагивает через луг, замышляя обед. Для нее он «сумасбродный незнакомец», как, возможно, и она для него. После обеда они залегают в ее спаленке, а затем полуголый Рафаэль шляется по дому, который все еще ему интересен: вскользь глянет на картины, откроет шкаф, где некогда хранилось белье, и, свесившись из верхнего окна, пялится на платановую аллею.

В одну из таких вылазок в коридоре он слышит шум, напоминающий журчанье реки. Шорох доносится сверху, из-за потолка. Отыскав лесенку, через люк Рафаэль проникает на чердак, где воздух густ от птичьего тепла. К голой спине липнут перья. Еще мальчишкой он знал, что в доме есть голубятня. Однако за долгие годы перегородка между ней и чердаком местами обвалилась, и теперь птицы свободно посещают закут под кровлей. Нескончаемая суета прилетов и вылетов.

Стать голубем Рафаэль не мечтал, но не раз представлял себя птицей, что воспарит над землей, а затем в долгом скольжении перенесется туда, откуда с высоты откроется потаенный вход в лес, невидимый людям. Из поднебесья жизнь на земле выглядит крошечной: рой голосов, скрип фургона, дымок из ружья, пыхнувший в миндалевой роще, и нечто подобное той музыке, что звучала в плеере Анны, той, что взовьется ввысь и поведает о самом главном.

Рафаэль замирает посреди чердака. Он знает, что увидит, если прильнет к узенькой щелке в портальной стене. Лесистую долину Буа-де-Мазер, где много лет назад тихо упокоилась его мать. Они с отцом копали могилу, четверо других наблюдали; когда мать предали земле, все пошли прочь, каждый сам по себе, точно спицы в колесе повозки, унося об Арии свою собственную память, которой ни с кем не делился, дабы ее не выхолостить. Речей не было. Его попросили сыграть, но он отказался; он сыграет позже, когда она прочнее в нем обживется. Он сумеет ее воплотить, и тогда отец переймет ее черты, с которыми прежде неосознанно боролся. В щель виднеется лесная опушка, куда тем утром ее принесли. Она прожила очень короткую смерть — уже через

три часа ее опустили в землю, словно та была кораблем, требовавшим немедленной посадки. Она вернулась на свою любимую поляну. Было около пяти утра, птичий гвалт будто сопровождал ее уход.

Рафаэль пролезает под чердачными балками. Ему послышался голос Анны. Она убрала лесенку и теперь, голая, хохочет, когда в квадратном проеме появляется его голова. Ногами вперед он выбирается из люка, повиснув на руках. Поняв, что Рафаэль не станет просить о помощи, Анна хочет подтащить лесенку обратно, но он уже спрыгнул с пятнадцатифутовой высоты.

С лесенкой в руках она замирает, словно голой оказалась на сцене. Он медленно описывает круги, тесня ее в угол…

Ты весь в перьях.

Хоть какая-то одежда.

Давай вымоемся. Я напущу ванну.

Нет. В реке. Как есть. Там никого. Перебежать через луг, а там деревья тебя укроют.

Его огрубелые пальцы вновь смыкаются на ее запястье. Анна и Рафаэль спускаются в кухню и черным ходом выскакивают на улицу.

В другой раз не убирай лесенку.

В другой раз точно уберу.

В мелкой речушке они навзничь ложатся на каменистое дно, чтобы вода их скрыла. С мокрыми волосами, облепившими голову, он будто преобразился. Так у меня впервые, думает она. Затем приходит мысль: а ведь с ним многое впервые. Беготня нагишом, его хватка на запястье, которая сейчас лишь чуть разжалась, его ленивая чувственность, в которой перемешались страсть, любопытство и жадность, его непохожесть на прежнего любовника, пылкого, но эгоистичного.

Однако он не до конца перед ней раскрывается. Будто хочет в чем-то остаться незнакомцем. Почему, если во всем остальном он так щедр? Творческие личности подобны ботаникам прошлого века, которые умны и одержимы, но лишь профессионально любят окружающий мир.

Но вот назавтра они стоят на опушке, и он приглашает Анну в свой фургон. Она колеблется, полагая предложение вынужденным и неохотным. Это шанс узнать о хозяине слишком много, если дом его — оболочка прошлого и возможного будущего. Рафаэль воспринимает ее нерешительность как скромность, застенчивость и нежелание развивать отношения. В чем-то он прав. Ведь и она живет скрытно. В ней пласты непременной секретности. В ней обитает

целое племя Анн, и Анна на берегу безымянной речушки совсем не та Анна, что в Беркли ведет семинар об одном из соавторов Александра Дюма, разработчике его сюжетов, и не та, что в Сан-Франциско заглядывает в кафе «Тоска» или обедает в «Тейдиш-гриль» на Калифорния-стрит.

Анна и Рафаэль стоят на опушке. Почему бы не войти в дом своего любовника? Все же любопытно. Она понимает, что их роман всего лишь роман без всяких потуг на постоянство, но весьма заманчиво увидеть, как эта «фигура» перемещается по дому-баулу, где некогда обитала загадочная Ария. Она не прочь забраться в узкую койку и, облокотившись на уступ оконца, смотреть на его потрепанную физиономию, а потом медленно приникнуть к его груди, пахнущей базиликом.

Одна из самых дорогих сердцу Анны вещиц — старая карта эмоций, которую мило озаглавили «La Carte du Tendre Pays»,[31] придав ей контур Франции. В начале прошлого века, эпоху землепроходцев и картографов мужского пола, ее составила женщина. Но сия карта чаяний деликатно умалчивала о плотском вожделении, ограничившись тем, что густо заштрихованная северная

[31] Примечания: 31
«Карта нежной страны» *(фр.).*

зона значилась как «Terres Inconnues».[32] Однако времена меняются. Когда Анна подкопила деньжат, чтобы в университете изучать французский, декан сказал, что лучший способ выучить язык — завести любовника-француза.

Вопреки всему, что в те два месяца у них было на петалумской ферме, они с Купом остались друг для друга загадкой. По правде, они открывали самих себя. Вот так приспосабливались к жизни. Прошли годы, Анна ни разу не была замужем, ни с кем не заводила долговременных связей, но по-прежнему терялась перед любовниками, словно все еще на помосте Купа жадно изучала себя. Между ней и другими всегда был и, наверное, всегда будет лабиринт неотмеченных дорог. Чувственная карта Франции, полная подтекстов, социальных хитросплетений, молчаливых противовесов власти, все еще была актуальна. Но передвигаться по ней следовало осторожно, с опаской.

На койке она сидит рядом со святыней-гитарой.

Значит, вот так.

Ага.

---

[32] Примечания: 32
«Неведомые земли» *(фр).*

Без книг.

Угу.

Без фотографий.

Он достает снимок Арии.

Анна разглядывает лицо женщины, чей образ составила по рассказам. И подмечает в нем неожиданную капризность.

А фото отца? Есть?

Помолчав, Рафаэль отвечает:

Где-то было одно, но он вышел нечетко. Отец не любил фотографироваться. Мол, из архива легавых обратной дороги нет. Если был нужен паспорт, он одалживался чужим. Чтоб только возраст и цвет волос примерно совпадали. На паспортных фото никто на себя не похож. Ты похожа? У тебя есть сестра? Могла бы пользоваться ее паспортом.

Сестры нет.

Нет? А я думал, есть.

Анна покачала головой.

Опять соврала любовнику. Была сестра. Было прошлое. О котором она не расскажет. Потом, если наберется духу. О том, как отец топором завис над Купом, как она ловила хоть крохотный вздох любимого, как в один миг жизнь ее вдребезги разлетелась, и она стала существом

с сотней нравов, голосов и другим именем. Она завидовала человеку, с которым лежала рядом, как некогда с Купом на полу хижины. Его жизнь казалась чистой. Она завидовала восхитительным приключениям его отца и Арии. Наверное, именно такому человеку, всем довольному, можно рассказать о своем прошлом.

Рафаэль… вот эти твои истории… Скажи, а что-нибудь ужасное случалось?

Еще как. Много такого, после чего я стал другим. Любовь, которая меня оглушила, писатель, в чьем доме ты живешь, ослы…

Вот-вот, я об этом!

Его первый опыт общения с девушкой произошел в семнадцать лет. В пятничный вечер ему предстояло пешком добраться до города, где намечались пикник у моста и поход в кино. Собрав аккуратный букетик ноготков, он решил тормознуть попутку, ибо уже припаздывал. Задача на вечер была одна: не оплошать перед представительницей противоположного пола. Один промах, и ему суждено умереть одиноким. В семнадцать мы все перфекционисты, а потому он составил список из сотни опасных пунктов.

Рафаэль шел под кронами деревьев и, заслышав машину, всякий раз вскидывал руку, но никто не

останавливался. Наконец притормозил фургончик «ситроен», в котором сидели двое мужчин и женщина. В белой рубашке и отутюженных брюках, Рафаэль открыл заднюю дверцу и забрался в кромешную тьму. Когда фургон тронулся, он ощутил толчки, исходившие от трех еле различимых существ, которые оказались ослами.

Анна умоляет ничего не опускать в описании этой самой долгой поездки в его жизни и последующего свидания.

Le rendez-vous n'a pas eu lieu,[33] говорит Рафаэль.

Когда у городского фонтана он выбрался наружу — рубашка выпростана, изгвазданные навозом ботинки насквозь мокры, рука (в попытке сохранить декорум) сжимает обломанные стебельки, некогда бывшие цветами, — девушка окинула его коротким взглядом. Для Рафаэля было главным сберечь букет, и потому ему изрядно досталось от животных, взаперти путешествовавших от самого Монрику.

А что было самое ужасное? — спрашивает Анна.

Девушка сказала: «Захворал отец, меня ждут

---

[33] Примечания: 33
Свидание не состоялось *(фр.).*

дома», — и ушла; я ополоснулся в фонтане, отчистил ботинки, потом в одиночестве посмотрел фильм с Габеном и темной дорогой отправился обратно; от звездного неба мне стало немного лучше, и я, проголодавшись, на ходу жевал хлеб с зеленью, наполняясь странным чувством, похожим на радость избавления… Так вот, весь ужас был в том, что к моему возвращению вся деревня уже обо всем знала. Если ты спросишь о «парне с ослами» или про «историю в „ситроене“», то и сейчас все поймут, о ком идет речь.

Постепенно рана обросла коростой иронии.

Я представлял, как на сеансе «Зверь — человек»[34] я, провонявший ослиным потом, тянусь обнять талию или оголенное плечико шестнадцатилетней девушки. Я привык к ослиным крикам, сопровождавшим мое появление в классе. Через месяц на годовом экзамене за окном крикнул настоящий осел, отчего грянули дикий хохот и вопли учеников и даже учитель понимающе усмехнулся.

Четыре года у меня не было никаких «свиданий», а затем, поняв, что самое плохое уже произошло, я стал напропалую встречаться с

[34] Примечания: 34

«Зверь — человек» (1938) — фильм режиссера Жана Ренуара, в главных ролях Жан Габен и Симона Симон.

девушками, превратившись в невероятно отвязного для своих лет ухажера. Но те четыре года, что я был изгоем, я посвятил гитаре. Своим занятием я обязан букетику ноготков и трем ослам.

Рафаэль открыл для себя уединенность музыки, ее потаенные краски и обманчивые истории. Отныне лишь ей он поверял все неурядицы и переживания. Он понимал, что должен как-то оградить ее от родительской близости, его окружавшей. Внешне он оставался все тем же веселым любящим сыном, но мать подметила, что он легко уходит от семейного общения. Он нашел свое волшебство, свой «запасной выход». У него имелся путь бегства от мира. Будто стул, на котором он сидел, был конем, готовым унести его в неведомый край.

Кто научил его этому секрету? Однажды он, юный музыкант, наблюдал за танцевальной парой, начавшей репетировать, когда оркестр еще не расчехлил инструменты; эти двое танцевали под фортепьянную запись, будто ширмой отгородившись от всех людей в зале. В своей интимной подготовке они уже были одни. Анна спросила, знал ли он писателя, и Рафаэль вспоминает, как мальчишкой проводил с ним долгие часы в его саду. Старик сидел за столом во впадине, некогда

бывшей прудом; перед ним были тетрадь, ручка и чернильница, но он не писал. Рафаэль брал другой стул и подсаживался рядом. Помнится, на дереве вечно заливались птицы. Писатель спрашивал, что происходит в округе, и Рафаэль рассказывал о костре, пахоте, забое коров, о том, как его отец вырезал большую деревянную ворону и, поставив ее на изгородь, с душераздирающим криком искромсал ножом. Он уверял, что зрелище отпугнет от сада настоящих ворон. Понятно, говорил старик, глядя за озеро, где текла подобная жизнь. Рафаэль частенько сидел с ним за синим столом в тени огромного дуба.

Я мыслю, лишь когда пишу, говорил старик. Беру тетрадь, ручку и погружаюсь в рассказ. Внешне умиротворенный, он ненароком подсказал Рафаэлю путь в жизни и научил его быть одиноким и довольным, отгороженным от всех знакомых, даже тех, кого любишь, что, как ни странно, позволяет их лучше понять. В каком-то смысле это был ужасный урок скрытности (что можно сделать с жизнью и вырванным из нее временем), которая ведет к близости. Писатель стал образчиком такой жизни. Одиночкой в своем хлопотливом и многолюдном вымышленном мире. Это был один из последних их разговоров.

* * *

Три часа ночи. Рафаэль снял с крюка лампу и вышел на улицу. Один из стульев на поляне он занял лампой, в которой запалил фитиль, на другой сел сам, отодвинув его из круга света и сложив руки на коленях.

Перед тем как выйти из темного фургона, он прислушался к дыханию Анны, разметавшейся на койке. Она худощава, но привыкла к американскому простору. Во сне Анна погружена в свой мир, где даже она чужая, и Рафаэль вновь одинок. Это был его ночной час, когда сна ни в одном глазу, когда он слушал шепот деревьев, окаймлявших поляну под бледной луной. И все же он одинок. Последний раз он видел отца в то утро, когда они уходили от могилы Арии. Рафаэль в нем нуждался, заклиная вернуться в их мир. Шло время, об отце не было ни слуху ни духу. Он затерялся в лабиринте больших и малых городов. Рафаэль стал сиротой. Выходило, родители не могли существовать друг без друга. Он лишился обоих крыльев, прикрывавших его.

Сзади тихо подошла Анна и положила руки ему на плечи:

Опять ушел.

Нет, я здесь.

Вот и хорошо, мне надо кое о чем с тобой поговорить.

О нас…

Нет. Обо мне.

Анна отбросила все мысли, нерешительность ее исчезла. Из-за границы тьмы на них пялился заяц. Анна ждала, чтобы он выпрыгнул на свет. Любопытство… отвага… — вот что отстукивали два беснующихся сердца.

Из прошлого

~~~

Одно время Клэр вела две разные жизни. Будни заполняла работа в Сан-Франциско у юриста по фамилии Ви, старшего помощника Канцелярии государственной защиты. Служба состояла из занудливых изысканий, технике которых ее обучил сам Ви, подметив ее нюх, позволявший за милю учуять информационную мышь. В выходные Клэр исчезала. Она уезжала на ферму к югу от Петалумы и пару часов пятничного вечера проводила с отцом.

Сидя друг против друга, они ужинали. Клэр замечала, как сильно постарел отец. Одежда на нем болталась, но отточенные движения и скупость в словах указывали, что он еще крепок. Он был из тех, кто в двадцать лет дни напролет расчищал землю, истребляя койотов и барсуков, которых считали свирепыми, как росомахи. Клэр и Анна знали историю о том, как однажды с парой собак он несколько дней выслеживал пуму; в конце концов крапчато-голубые кунхаунды загнали двухсотфунтового зверя на дерево, и отец
~~~

выстрелом сбил его с ветки. Девочкам страшно хотелось, чтобы он живописал подобные случаи, превращая их в великие приключения своей молодости. Но отец был лаконичен и молчалив, не желая распространяться о прошлом. Вот и теперь они с Клэр молчанием обходили эпизод, из-за которого в их жизни больше не было Анны. Потеря дочери будто сожрала его и переваривала до тех пор, пока он не обуздал свои чувства, как уже было после смерти жены, о чем новорожденные девочки не могли помнить. Если в нем еще жили боль и безудержная любовь к Анне, со второй дочкой он об этом не говорил. Однажды Клэр упомянула имя сестры, и отец вскинул руку, грозно моля замолчать. Прежняя близость между ними исчезла; если когда-то она существовала, ее архитектором была Анна.

Потом они мельком виделись утром, перед тем как Клэр отправлялась в горы, уложив в короб дождевик, воду и провизию на полтора суток. Верхом она взбиралась на холмы, которые в глубине души числила своим истинным домом. Здесь кончался семейный устав, здесь можно рисковать собой и почувствовать непередаваемое возбуждение от того, что чуть не заплутала в низинном тумане, где веяло дымом от чьего-то

далекого костра, но к вечеру отыскала стоянку.

Она рисковала беспрестанно: под луной вскачь неслась по узким тронам, переплывала бурные потоки, галопом проскакивала Безрукий мост,[35] бросив повод и раскинув руки. Коллеги вряд ли узнали бы в ней привычную Клэр. Пожалуй, и отец ее не признал бы, хоть ведал, что с юности ее тянуло в горы. (Она же считала его домоседом, которого не приманишь за руль или в седло.) Видимо, в ней говорит лихая кровь какого-нибудь предка-лошадника, считала Клэр. Коснувшись стремени, она тотчас избавлялась от своей хромоты. Вот так она открыла в себе неисчерпаемый потенциал.

Когда Клэр впервые участвовала в гонке на выносливость, ее сбросила лошадь, и она скатилась по каменистому склону. В клубах красной пыли животное терпеливо ее поджидало, пока с вывихнутым плечом она карабкалась обратно. Клэр продержалась еще две мили, прежде чем здравый смысл вкупе с инстинктом самосохранения пересилил голос крови, и по желтым вехам

[35] Примечания: 35

Безрукий мост — калифорнийский пешеходный мост, построенный в начале XX века и первоначально не имевший перил; свое название получил от наездницы Ины Робинсон, которая, проезжая по нему, бросала поводья.

она вернулась в лагерь на плато Робинсон. Перед спуском лошадь опять заартачилась, но Клэр ее уже простила. У лошадей бывают свои закидоны. Кто-то забил косячок, который Клэр выкурила, прежде чем позвонить отцу.

Через час он приехал в повозке. В глазах Клэр застыло выражение израненной собачонки, которая сдуру кинулась в чащу, понятия не имея о ее пределах. О травме она ничего не сказала, но, выбравшись из повозки, не смогла идти, и отец на руках отнес ее в дом. Впервые за год он к ней прикоснулся. В кухне отец уложил Клэр на длинный стол, обмотал ее плечо распаренным полотенцем и, упершись коленом в ее спину, так рванул руку, что у нее из глаз брызнули слезы. От повторного рывка она потеряла сознание.

Очнулась Клэр все на том же столе. Голова ее покоилась на подушке. Отец сидел на старом клетчатом диване — охранял. Клэр тихонько повернулась с боку на бок. Потом села в машину и проехала сорок миль до Сан-Франциско, где назавтра ее ждала работа.

В Канцелярии государственной защиты, предоставлявшей адвокатские услуги неимущим, Клэр работала уже пять лет. Она была одной из двух ассистенток государственного адвоката

Альдо Ви, помогавших ему в сборе информации. Каждое утро Ви, Клэр и Шон встречались в кафе на Гиэри-стрит; пока девушки завтракали, адвокат рассуждал об очередном деле. Дока, он прокручивал возможные варианты защиты, рассматривая их под разными углами. В девять тридцать они садились на телефоны, чтобы в беседах со школьными друзьями, любовницами и хозяевами подзащитного раскопать его прошлое. Потом изучали жертву. Даже намек на ее агрессивность в прошлом мог перевернуть дело. Их инструменты — блокнот на виду и скрытый микрофон. Копам с нами не тягаться, говорил Ви. Они были семьей. Клэр знала все о Шон и близких Ви. Когда его жена хворала, она забирала из школы их детей и вместе с ними ехала на слежку. Когда Шон призналась в своем неудержимом влечении к женщинам, на совместном ужине Клэр и Ви разработали для нее «план игры».

На работу Клэр неизменно одевалась в платья пастельных тонов. Важно произвести впечатление домашней беззащитной клуши, говорил Ви, но Клэр подозревала, что ему просто нравится этот образ. В зависимости от собеседника, кольцо ее перемещалось с пальца на палец. Платья представляли ее мужчинам воспитанной неженкой,

не способной верховодить. Если кто-нибудь с ней заигрывал, на авансцену выходило кольцо, и Клэр деликатно извещала о том, что беременна. («Ребенком?» — забавно уточнил один опасного вида тип, и она потупилась, скрывая улыбку. Теперь он видел в ней мадонну.) Ее роль предполагала соучастие, она изображала мягкое сострадание, которому чуждо морализаторство. Клэр умела разговорить людей. С женщинами было предпочтительнее беседовать по телефону, поскольку это давало им возможность одновременно заниматься чем-то другим. Если на слежке любопытные соседи стучали в окно ее машины и спрашивали, что ей тут нужно, Клэр неопределенно кивала на дом: «Мой дружок там пьянствует. Надо его вытащить. Вот, пасу». — «Ох, милая! Может, чем помочь?» — «Да нет, спасибо». Она бы выпила кофе, но тогда захочется писать. Слежка требовала постоянного внимания и к концу дня вусмерть изматывала.

Целыми днями Клэр разбиралась в истоках аферы со страховкой или деле о растлении. Канцелярия предоставляла защиту любому бедняку, обвиненному в уголовном преступлении. До знаменательного дела «Гидеон против Уэй-

нрайта»[36] лишь богатые получали адвоката. Канцелярии приходилось учитывать полицейскую «свистопляску с уликами», которая начиналась после совершенного преступления. В полиции считали, что, если за три дня дело не раскрыто, его не раскроют вообще. На расследование редко отпускали больший срок, ибо всякие осложнения и тонкости были ни к чему. Государственным адвокатам, лишь на четвертый день допущенным к уликам, приходилось спешно выискивать изъяны в следствии и свидетельства, которые доказали бы, что их клиент не совершал преступления или не заслуживает смерти. Последнее происходило уже на стадии приговора — лишь тогда защите дозволялось повлиять на исход суда. Однажды Клэр вела дело человека, которому грозила смертная казнь, и раскопала агрессивный поступок, совершенный им еще в двадцатилетнем возрасте. Обвиняемый набросился на человека, который зверски избивал

[36] Примечания: 36

В 1961 г. Кларенс Эрл Гидеон был обвинен в грабеже бильярдной в Панама-Сити, Флорида. Не имея денег на адвоката, на суде он был вынужден защищаться сам и получил пять лет заключения. Из тюрьмы Гидеон подал в Верховный суд США жалобу на секретаря Флоридского департамента наказаний Луи Уэйнрайта, где заявлял о нарушении своих гражданских прав. В 1963 г. Верховный суд вынес постановление о праве обвиняемого на государственного защитника, если у него нет средств на частного адвоката.

свою собаку. Оба-на! Эта мелочь обеспечила ему пожизненное заключение вместо смертельной инъекции. «Если б выяснилось, что он прочел всего Германа Мелвилла,[37] это не возымело бы эффект, но шавка спасла ему жизнь», — сказал Ви.

Случалось, после работы они вдвоем заходили в «Туманный город», и Клэр разглядывала стакан шефа с водкой и мартини, подернутый угрожающе маслянистой пленкой. Альдо Ви был самым принципиальным человеком из всех, кого она знала; он научил ее выживать в профессиональном мире преступления и наказания, признавать размытую грань между причиной и следствием, понимать, что настоящее непрерывно изменяет прошлое, которое есть не что иное, как странное наследие, свалившееся в чью-то жизнь перевернутым вверх тормашками, словно изображение в камере-обскуре. Незыблем лишь принцип.

— Если нельзя верить в человека, веришь в принцип, — говорил Ви. — Перед тобой монстры, но ты помогаешь им защититься. Ты веришь в принцип всеобщей справедливости. Когда

---

[37] Примечания: 37

Герман Мелвилл (1819–1891) — классик американской литературы, автор романа «Моби Дик» и других, где провозглашается примат иррационального.

убийца отбивается от смертного приговора, не *он* молит о прощении, ибо его недостоин, но *мы* просим за него.

В семнадцать лет он оказался во Вьетнаме, где провел два года и видел монстра. Он знал, как тот нападает.

В конце дня в «Туманном городе» они выпивали по стаканчику, но повторять Клэр не разрешала. Если Ви пил еще, она уходила, если нет, оставалась и слушала его. Ему всегда было нужно выпустить пар. Он говорил о Вьетнаме. Даже если обсуждал предстоящую защиту, на самом-то деле говорил о Вьетнаме. Однажды Клэр заговорила о том, что в давние годы случилось между отцом и Купом, и о пропавшей сестре.

— Они не монстры. — Ви махнул рукой, словно отгоняя пылинку. — Всегда есть обиды, накопленные в детстве.

Он был единственный, с кем Клэр заговорила о своем прошлом.

— Сестра пыталась с тобой связаться?

— Нет.

— Значит, в ней еще жива печаль. Ты ей завидовала?

— Нет. Лишь раз.

Только Ви дал ей успокоение, разбавив ее про-

шлое. Интересно, такой человек воспринял бы отца, Анну и Купа как старомодных чудаков?

Если Клэр приходила в бар позже и Ви был уже пьян, она к нему не подсаживалась. Просто вынимала из его кармана ключи от машины и ждала, пока он выберется из тесной кабинки и заплатит по счету. Потом везла его домой, по телефону известив жену. На подъездной дорожке она возвращала ключи в его карман и шла к заказанному такси, помахав маячившей в дверях жене.

— Ты золото, Клэр! — орала та.

Вьетнам.

Клэр понимала, что Ви дал ей жизненную цель и снабдил путеводным принципом, а потому ради него была готова на все. Но он всегда вел себя с ней как с соратницей в почетном труде, хотя один лишь бог ведает, какие потаенные чувства бродили в его душе. Жена Ви была его замысловатым отражением. Она водила Клэр на симфонические концерты и балет, которые Ви не высиживал. Балету не хватало слов, чтоб удержать его от сна. Верхом его культурной программы были заезженные пластинки Телониуса Монка,[38] чью музыку он называл заточенным птичьим

[38] Примечания: 38

Телониус Монк (1917–1982) — выдающийся американский джазовый пианист и композитор, один из родоначальников стиля бибоп.

щебетом. После ужина, когда Ви в очередной раз налаживал свою кустарную аудиосистему, обычно разговор сворачивал на обсуждение подслушивающих новинок.

— Существует лазер, который улавливает вибрацию оконного стекла на другой стороне улицы и преобразует ее в звук. Один шаг до того, чтобы услышать разговор в комнате. И мы же проиграли войну…

* * *

Клэр резко проснулась. Она была в Тахо, в гостиничном номере. Днем приехала из Сан-Франциско и решила прикорнуть. Давеча они с Ви обсуждали дело школьного совета, и шеф сказал, что ей придется сгонять в Тахо. За окном виднелись озеро и залитые ярким светом манящие казино. Но в холле коридорный рекомендовал клуб «Стендаль» — дескать, таких развлечений не сыщешь ни в одном игорном зале.

В разгар вечера кто-то протянул ей таблетку.

— Что это? — спросила Клэр, но не разобрала беззвучно артикулированный ответ. Решив уменьшить дозу, она проглотила полтаблетки.

«Стендаль» являл собой городок настроений. Здесь были комнаты тишины и громкой музыки,

фруктовых соков и свежих овощей, массажа, фильмов о жизни плантаций и планет (вроде «Бараки» и «Коянискацци»[39]) или таких, где сцена из триллера шла в рапиде, отчего контур женской руки, пакующей чемодан, множился, точно куколка в покадровой съемке. В замедленном темпе короткая сцена из «Психоза», в которой Энтони Перкинс с молоком и сэндвичами на подносе невинно приближается к Дженет Ли,[40] завораживала. Клэр только что заглотнула таблетку и потому не могла уверенно сказать, благодаря чему сорокапятисекундный проход превратился в десятиминутную сцену — дару снадобья или мастера. Во всяком случае, теперь, зная, что будет дальше, она легко читала все якобы простодушные взгляды злодея. Отвернувшись от экрана,

---

[39] Примечания: 39

«Барака» (1992) — документальный фильм Рона Фрика в жанре философско-музыкального эссе, снятый широкоформатной камерой, для которой была создана специальная компьютерная система, позволявшая снимать удивительно растянутые по времени кадры; в арабском языке «барака» означает «благословение». *«Коянискацци»* («Жизнь вне равновесия» на языке индейцев хопи) — выпущенный в 1983 г. документальный фильм Годфри Реджио, в котором многие эпизоды сняты по технологии замедленной киносъемки. Музыка Филиппа Гласса и видеоряд (оператор Рон Фрик) создают особую атмосферу фильма, в котором нет дикторского текста.

[40] Примечания: 40

«Психоз» (1960) — классический триллер Альфреда Хичкока; *Энтони Перкинс* и *Дженет Ли* — исполнители главных ролей.

она увидела незнакомцев, которые опасливо ее обходили, и человека, невыносимо медленно приближавшегося к ней со стаканом ярко-белого, словно изнутри подсвеченного молока.

Затем пару часов она провела в танцзале. Вокруг то никого не было, то ее зажимали подвижные тела, спаянные, точно капли волны. Зачем-то она приехала в Тахо, но зачем — не помнила. Было какое-то дело, вот только память его не отдавала. Надо пойти в комнату тишины за толстыми пневматическими дверями и все обдумать. Тогда повод для приезда в Тахо выкатится к ней, будто шарик.

Через несколько часов она очнулась и пошла в гостиницу. Утро выдалось хмарное, с озера налетали порывы ветра. Узкие покатые улочки сбегались к центру города. Услышав за спиной непонятный шум, она обернулась и увидела парня на скейтборде. Их взгляды встретились, и парень, мгновенно приняв решение, подхватил ее и поставил перед собой на доску. Держаться было не за что; вытаращив глаза, Клэр замерла в неплотном кольце его рук. Под хлынувшим дождем они с грохотом неслись по тротуару, не различая лиц прохожих, — все превратилось в цветные пятна и струи. Клэр чуть расслабилась,

но в ту же секунду парень вернул ее на тротуар и умчался прочь. Она обернулась посмотреть, сколь ко они проехали, и вновь замерла перед фасадами домов в дощатой обшивке. Хотелось отыскать гостиницу, чтобы рухнуть в постель.

В какой-то момент этой сомнамбулической прогулки она вошла в закусочную и села за столик. Заказала минеральную воду, яичницу из трех яиц и сосиски с грибами.

Есть зеленые помидоры?

Да.

Двойную порцию.

Официантка подала еду, и Клэр принялась неуклюже ковыряться в тарелке, то и дело роняя нож или вилку. Вот тут-то в кафе вошел человек, похожий на Купа.

Куп?

Сомневаясь, что перед ней не видение из мрака, Клэр его не окликнула. Она просто встала. Человек взглядом поискал свободное место и увидел ее. Лицо его расплылось в изумленной улыбке. Она подошла и обняла его. Это был он. Клэр не выпускала его из объятий, потому что заплакала. Сказались усталость и отголоски зелья. Такого она не ожидала, ее захлестнула радость встречи.

Куп сел напротив. Оба молчали. Он все озирал-

ся. Оглянется и вновь посмотрит на Клэр.

Значит, ты живешь здесь?

Нет, в Сан-Франциско. Не здесь.

Куп молча ее разглядывал.

Работаю на адвоката. Поиск, расследование. Для Альдо Ви. Слышал о нем?

Он выслеживает игроков?

Этим занимается прокуратура. Мы — защита.

Только сейчас Клэр сообразила, во что одета.

Была в клубе. Что мне несвойственно. Она сморгнула. Возбуждение и усталость ее подкосили. Куп, я хочу все о тебе узнать, только мне надо…

Пошли.

Он предложил до гостиницы идти пешком, чтоб продышаться. По дороге сказал, что на жизнь зарабатывает игрой, и вновь спросил, чем занимается она. Куп шел чуть боком, чтобы ее видеть.

Что-то здесь расследуешь?

Так, ерунда. Одно дело для шефа… У тебя бандитская походка.

Я игрок.

Понятно.

Живу неподалеку от Лос-Анджелеса. В городке Санта-Мария. Уже несколько лет. Здесь кое-кого

ищу.

У тебя дом? В смысле, там.

Номер в гостинице.

Кошмар.

Он остановил такси.

Зачем?

Ты устала. Не дойдешь.

В номере он остался в дверях и спросил, когда она уезжает.

Присядь. Выпей чего-нибудь. Ради нашей встречи я могу задержаться, если у тебя есть время. — Не сводя с него глаз, она плюхнулась на диван и скинула туфли.

Куп подошел к окну, за которым пульсировали огни Тахо.

Днями тут начнется большая игра. Мне пора слинять. Нужна помощь старого друга. Он обернулся — завалившись набок, Клэр уснула.

Куп постоял над ней, потом вздернул ее на ноги, отчего голова ее ткнулась ему в грудь. Слабо пахнуло духами. Запах казался чем-то несовместным с Клэр. Она — девочка, которую он учил рыбачить, ездить верхом, водить машину. В ее лице проглянула знакомая мягкость, и он почувствовал, что улыбается. Как давно они не виделись.

— Давай-ка ляжем.

Сквозь сон она его отпихнула.

— Все хорошо, это я, Куп. Я просто тебе помогу.

* * *

Следующие два дня Клэр занималась делом школьного совета и ждала звонка Купа. Номер, который он оставил, не отвечал. Может, уже уехал? Она заглянула в пару игорных залов и справилась о Купе, но там все молча отворачивались. Похоже, в этом мире анонимность считалась хорошим тоном. Может, она супруга блудного игрока, поди знай. Адреса Куп не оставил, лишь накорябал телефонный номер. После стольких лет она умудрилась вновь его потерять.

Клэр позвонила Ви — известила, что задержится, и попросила установить по номеру адрес. Мол, хороший знакомый, почти родственник. Она уже начала сомневаться. Был ли Куп вообще? Может, его сочинила та половинка таблетки? Маленький подарок в конце безмерно долгой ночи.

~~~

В городке Санта-Мария, что угнездился в холмах к северо-западу от Лос-Анджелеса, Купер
~~~

допоздна играл, лишь под утро возвращаясь в гостиничный номер. Жил он замкнуто, почти ни с кем не знался. Сто лет назад округ Санта-Барбара населяли рабочие-эмигранты — мексиканцы, колумбийцы, вьетнамцы, италоамериканцы, трудившиеся на ранчо и овощных полях за большаком. На холмах жили богачи, среди которых нашлись блудные сыны, любящие азарт. Вот так в долинах утвердилась демократия. Временами Купер рисковал съездить на побережье, чтобы по-крупному сыграть с любителями, но лучше всего ему было в его придорожном городке. После того случая в Вегасе, когда он уделал Братию, Куп не высовывался. Днем ходил в кино, читал детективы, покупал шлюху, если хотелось, а вечером садился за карты. Вставал поздно и совершал пробежку, дабы выветрить затхлость прошлой ночи. Противовесом умеренной жизни было шулерство. В Вегасе и Тахо он больше не появлялся. Здешние игроки его не знали. Он не горел желанием вернуться в прошлое.

Ранним вечером Купер приезжал в мясной ресторан «Мартышка» на Тафт-роуд, где в баре выпивал скверную «маргариту» и садился за столик. Обычно он уходил еще до наплыва посетителей. Предпочитал есть в одиночестве. Ночь

пройдет в общительной компании за карточным столом, а здесь он молча разглядывал почти пустой зал, прислушиваясь к разговорам едоков. Его заинтересовала женщина, по понедельникам и пятницам ужинавшая с бородачом. Ресторан не славился быстрым обслуживанием, и, дожидаясь заказа, Купер пытался угадать профессию ее спутника. Маркшейдер? Водитель погрузчика, что букашками шныряют в аэропорту? Рослая, футов шести (пожалуй, вровень с Купером), эта женщина, чьи нош, прикрытые шерстяной юбкой в черно-белую клетку, едва помещались под столиком, полыхала энергией. То и дело она вскакивала, чтобы переговорить с персоналом или уточнить имя и дату в афишах, развешанных по стенам, и сообщить информацию своему кавалеру.

Частенько она приносила с собой книги. Купер разглядел название одной — «Химия». Женщине было чуть за тридцать. Пара всегда появлялась в одно и то же время. Может, он — ее преподаватель? Или брат? Друг к другу они не прикасались, но весь ужин безумолчно болтали. Они тоже всегда садились за облюбованный столик. Иногда раньше приходил Купер, иногда они. Подчас женщина оглядывала его как нечто знакомое, но

однажды, чему-то рассмеявшись, одарила обворожительным взором, и Купер ответно улыбнулся. На секунду между ними возникло единение, которое он бережно запрятал в душе. Бывало, женщина вдруг вытянет ноги. Она казалась чужой в этой обшитой деревом харчевне, освещение которой выставляло напоказ морщинистые шеи старых игроков и их сезонных напарников. Но каким бы ни был здешний свет, его следовало упаковать, чтобы он повсюду сопровождал эту женщину и покинул ее лишь после похоронного обряда.

Хотелось просто смотреть на эту загадочную незнакомку. Разглядывать ее лицо и светлые волосы. Привлекала не красота, а непохожесть. Может быть, в Вене эта женщина показалась бы заурядной, но в Санта-Мария она выглядела пантерой, которая по понедельникам и пятницам втискивалась между столиком и сиденьем, располагаясь напротив человека, который, возможно, был фокусником-любителем и в каком-нибудь затрапезном баре забытого богом калифорнийского городка распиливал ее пополам. Перегнувшись через стол, она что-то нашептывала своему приятелю или кем там он ей доводился.

Купер возвращался в свой номер, гадая, чем она

занимается. Он сознавал, что ничего о ней не знает. Даже тембра голоса не уловил. Ровно в восемь он ужинал, а затем отправлялся на игру. В харчевне он поедал спенсер-стейк, приготовленный на уличной жаровне размером с плавательный бассейн. Средневековая сцена: повара в майках исполинскими щипцами управляются с жарким. Потом до трех ночи он играл в карты, медленно переваривая двенадцатиунциевый кусок мяса.

Однажды она пришла без спутника. Встретившись с ней взглядом, Купер машинально помахал рукой, и в ответ она кивнула. Он не знал, что теперь делать. Обычно она, увлеченная беседой с кавалером, не замечала его взглядов. Женщина возила вилкой по салфетке, излагавшей историю ресторана. Купер уставился на свою такую же. Сага начиналась с 1886 года, когда Эмери Ноттс открыл салун. Жена одного из его восьми сыновей, которого звали Мартышка, была первой здешней телефонисткой. Своих детей они назвали Дружок, Сосунок, Рыжик и Пискля; во времена сухого закона торговали самогоном, в сороковые держали игровые автоматы и зал для покера. «О заведении прошел слух, и люди ехали за сотни миль, чтобы здесь побывать, — повествовала салфетка. — Долгие годы в баре жила мартышка…»

К вам можно? — Женщина встала, одернув юбку. Купер молчал, пока она устраивалась напротив.

Где ваш приятель?

Бог его знает. Может, уже далеко. Она все усаживалась. Ясный голос ее был очень близко. Духами совсем не пахло. Сначала это показалось странным, ибо в игорных залах женщины утопали в ароматах, а мужчины источали запах талька и одеколона.

Она что-то мурлыкала себе под нос — то ли молилась, то ли напевала. Позже Купер узнает, что это ее привычка. Но сейчас он тужился, стараясь ее расслышать.

Однажды на «форде» я мчал сквозь пыль… Глядь, Мэйбеллин гонит в «куп де виль»…[41]

Простите?

Чак Берри…

Я с ним как-то играл, сказал Купер, узнав происхождение строчек.

Он вас обчистил?

Нет. Куп выдержал деликатную паузу. Я его разделал. В картах он не шибко волочет.

---

[41] Примечания: 41

«As I was motivatin' over the hill / I saw Maybellene in a coup de ville» — из песни «Maybellene» (1955) Чака Берри (р. 1926), одного из родоначальников рок-н-ролла.

Кого еще?

Из знаменитостей?

Она кивнула.

Вроде больше никого.

Другие шишки, подобные автору и исполнителю «Мэйбеллин», в игорных залах не встречались. Не помнится, чтобы он скидывал пару тузов Альфреду Бренделю.[42]

Разговор увядал; нащупать тему, позволявшую вырваться на словесный простор, не удавалось. О своих отношениях с сотрапезником она умолчала, хотя вскользь бросила, что тот держит скобяную лавку. Она читает научные книга, но с университетом покончено… Много путешествует… Ее отец бывший военный, но сейчас они не видятся… «Мне стейк», — сказала она официантке. И бокал вина? Она покачала головой. Купер уже отметил, что она не пьет. Обмен репликами продолжался до половины десятого, когда Куп объявил, что ему пора уходить.

Хм.

В «Гваделупских дюнах» игра с какими-то археологами.

Хм.

---

[42] Примечания: 42

Альфред Брендель (р. 1931) — австрийский пианист, исполнитель австрийской и немецкой классики.

Он воспринимал ее отчетливее, когда она сидела за столиком наискосок. Теперь же приходилось поддерживать разговор и обдумывать ответы. Когда так близко, между ними возникало много иного.

Еще увидимся?

По понедельникам и пятницам. Он встал, чтобы расплатиться, она осталась сидеть.

Бриджит, бросила она ему вслед.

Он кивнул:

Пока, Бриджит.

Не будь Бриджит наркоманкой (а может, и барыгой), не будь ее жизнь связана со множеством других жизней — если б в их первом разговоре Купер всего этого не почуял, он бы, наверное, уклонился от следующей встречи в ближайшую пятницу и не пошел к ней на квартиру. Равно как в прошлом веке не подал бы умышленно оброненную перчатку прогуливающейся даме. Догадки позволяли чувствовать себя в безопасности. Если сквозь водяную трубку она сосет молочно-белый дым или втыкает в вену иглу, находя в том больше радости, чем в любви, — значит, он ей не важен. Он останется штрихом в ее неделе, только и всего. Через пару месяцев она его даже не вспомнит. Чутье опытного игрока

подсказывало: она не таит в себе угрозы.

Они пришли в ее квартиру. В большой кухне, удивившей своими размерами, Бриджит стала готовить дозу. Она уселась на ковер, ее клетчатая юбка задралась на бедра. В голове Купера беспрестанно крутилась мысль: она выглядит вполне здоровой. Словно здоровье не могло быть частью такой жизни. На предложение угоститься он покачал головой, но со стороны Бриджит, воспитанной по армейскому уставу, это было лишь данью вежливости — так соседу предлагают солонку, прежде чем самому ею воспользоваться; девица уже изголодалась, гость для нее не существовал. Потом взгляд ее замер на далеком дереве, она перенеслась в иной мир. Ее безмерное блаженство казалось чем-то недосягаемо прекрасным, чего Куперу никогда не изведать, сколько бы ни загреб с карточного стола. Бриджит сидела на полу, привалившись к камину. Наконец взгляд ее вернулся в комнату.

— Возьми мою руку, — тихо сказала она, не называя его по имени.

Подогнув колени, она опрокинулась навзничь и прижала его голову к своей груди под белой блузкой, затем подтолкнула ее вниз, к животу. Она отпихивала его и тотчас притягивала к себе,

словно некое бревно, от которого хотела избавиться, но потом за него же цеплялась. Такого напора он не ожидал. Думал, будет томное обольщение. Расхристанная, она взгромоздилась на него верхом и шепнула «Купер», словно наконец-то отыскала ему имя, которое вскинула, как выхваченный из озера меч,[43] и собралась вдохнуть свою жизненную силу в *него,* бессильно распростертого меж ее золотистых ног.

Она позволяла отбарать ее, лишь когда достигала пика в своем сумеречном кайфе и возвращалась обратно. Два-три раза в неделю, почти всегда днем, в ее квартире, пронизанной солнечными лучами с пляшущими пылинками. Иногда он держал ее, пока она блевала в раковину, сотрясаясь в ознобе. В три-четыре ночи вернувшись в гостиницу, порой он видел, что она спит в кожаном кресле. Обычно она оставляла портье записку, в каком углу ее искать, ибо в путанице холла с разнообразием ниш, где играли и разгадывали кроссворды, музицировали на рояле и обозревали исторические фото, было легко затеряться. Он вздергивал ее на ноги. Видя

[43] Примечания: 43

Легенда: король Артур лишился меча в поединке с сэром Пелинором, но волшебник Мерлин помог ему получить меч Эскалибур, который держала над водами рука Владычицы озера.

его усталость, она предлагала ему таблетку, но он всегда отказывался.

Если же Купер чувствовал, что нынче не уснет, они садились в его машину, заливали полный бак «Тексако» и катили чуть ли не до Невады, оставляя на шоссе капли музыки «Клэш»,[44] лившейся из открытых окон. Бриджит включала лампочку салона, и тогда их авто походило на световой пузырь, скользивший сквозь рощи. Развернув продолговатый пакетик, она смешивала в мисочке кокаин с каустической содой и добавляла в эту молочно-белую смесь эфир. Потом выключала лампочку, ибо руки сами помнили, что дальше делать. В подсветке приборной доски угадывался ее контур: она выуживала кристаллы из миски, заталкивала их в трубку, сипевшую при каждой затяжке, и, оглушенная кувалдой эйфории, приваливалась к открытому окну.

Темнота в машине сближала. Они проскакивали городки — Дункан, Эрика, — и казалось, будто машину направляет взвинченная дурью Бриджит: босые ноги заброшены на приборную доску, словно указывают дорогу, голова на оконной рамке, подрагивающей в такт басам. Потом

---

[44] Примечания: 44

The Clash — английская панк-рок-группа, создана в 1976 г., распалась в 1986 г.

они останавливались, из открытой дверцы в пустынную ночь лилась музыка; Бриджит вставала раком, грудью навалившись на разогретый капот «крайслера». Потная, она выскальзывала из хватки Купера, но даже в любовном угаре он старался не задеть ее исколотые руки.

Промелькнул месяц с женщиной, к которой его привлекла ее кажущаяся загадочная необузданность, с той, что в ресторан приходила с учебником химии. «Волосы ее были так золотисты, а вино было так красно…»[45] Поначалу он думал, что она запомнится образом из песни. Она спала рядом, но он не мог проникнуть в ее юношеские тайны и чувства, усиленные дурью, что неизменно посылала свой привет. Ее мир существовал только здесь и сейчас. Не было ни одной истории из ее прошлой жизни, о которой он мог бы порасспросить. Когда потоки и стремнины уносили ее ввысь, она сбивчиво и невнятно бормотала лишь о том, на что способны дурь и желание. Иногда, проснувшись на рассвете, он видел, что она сидит на ковре, сгорбившись над неверным голубым пламенем. Однажды он от-

[45] Примечания: 45

«And her hair was so yellow, and the wine was so red» — из песни Тома Уэйтса «Good Old World» («Старый добрый мир»), написанной для фильма Джима Джармуша «Ночь на Земле» (1991).

крыл глаза и увидел над собой ее внимательное лицо, пугающе напомнившее лицо Анны. Он не понимал, кто она: линза, сквозь которую прошлое обретает резкость, или мгла, его скрывающая?

— Обожаю пение. В машине отец всегда напевал, когда вез меня маленькую.

Бриджит выглянула из-за его плеча. Будто дверка приотворилась. Она к чему-то его подпустила. Он не видел ее глаз, но понял — это личное. Над задним сиденьем, где она устроилась точно одинокий ребенок, поплыла отцовская мелодия. Купер не сводил взгляда с ее задумчивого лица. Прядь перечеркнула щеку, светлая тень за вырезом блузки. Он впитывал эти детали, словно запасаясь перед будущей жаждой. Она тихо говорила об окружавших ее мелочах. Перебирала их наряду с жаргонными словечками наркоманов — «попугай», «петух», «козюлина», — но важно было то, что внутри этого маленького свода звучит ее милый умиротворенный голос.

Иногда на весь вечер она уезжала с музыкантами. Возвращалась под утро, почти одновременно с Купером.

— Почему ты не съездишь со мной? — спрашивала она. — Пение — моя радость.

Привыкший быть с ней наедине, он колебался. Ее общение с другими лишит его того, что он знал и хотел. В любви она была охоча и усердна даже после того, как ширнется и распустит на руке жгут. Он уже видел, какая она разная, даже в своих привычках. Бывало, она выходила с ним на пробежки и не уступала ему в выносливости, а потом, вернувшись домой, раскрывала сумочку с пипетками, каустической содой и пластинками, напоминавшими контактные линзы, и терпеливо дожидалась образования кристаллов. Или же ночь напролет читала. На предложение поехать вместе с ней он лишь покрутил рукой — мол, не стоит, — полагая безмолвный отказ более вежливым. В ответ она скорчила рожицу, скорее унылую, нежели обиженную. Диалог состоял из жеста и мимики. Она вышла из комнаты; когда он заглянул к ней в спальню, она стояла у окна и смотрела на машины, медленно ползшие по въездам на Санта-Мария-бульвар. Через полчаса за ней приехали друзья. Возвращалась она всегда веселая.

В следующий раз Купер поехал вместе с Бриджит и ее приятелями. Накануне он известил партнеров, что играть не будет; когда приехали музыканты, он вместе с Бриджит сошел вниз. Она

ждала, что сейчас он распрощается.

Ты с нами?

Решил съездить.

Здорово, Купер! Только сними галстук. Дай-ка сюда.

После уроков Дофина он уже не мог расстаться с этой привычкой. Даже в полосе неудач штука вроде галстука или сорочки с отложными манжетами дает преимущество, говаривал Дофин.

Бриджит села впереди, а Купер расположился рядом с басистом, поведавшим, что он — редактор журнала о природе, которым владеет пара «баронов-разбойников».[46]

— Консерваторы без ума от Калифорнии, — вещал басист. — Им смерть как хочется ее захапать.

Бриджит о чем-то болтала с водителем, но Купер ее почти не слышал. Он знал, что выступления проходят в прибрежном баре; через час подъехали к строению на обочине двухрядного шоссе. Выйдя из машины, Бриджит одернула юбку, которую прежде он не видел. Неоновая

---

[46] Примечания: 46

Бароны-разбойники — презрительное прозвище основателей крупных промышленно-финансовых корпораций, сколотивших состояние в период первичного накопления капитала во второй половине XIX и начале XX в.

вывеска багрянцем окрасила ее лицо.

— Я тебя покину, — сказала она. — Позже увидимся, хорошо?

— Хорошо.

— Найди меня после концерта.

— Ладно.

Здание представляло собой безликую прямоугольную коробку, смахивавшую на бордель с инвалидным пандусом. Как выяснилось, внутри располагались боксерский зал и бар. На гравийной площадке уже припарковались с полсотни машин, грузовички и даже ассенизатор.

Нынче Купер следовал в спутной струе Бриджит и чувствовал себя легко. Убивая время, он прогулялся вокруг здания. За неосвещенным торцом дома угадывались невидимые поля, изредка выхваченные из темноты фарами заезжавшей на парковку машины. Купер представил, как в гримерной Бриджит готовится к выступлению — переобувается или красит ногти жженой сиеной. Он добродушно усмехнулся. Вообще-то он ничего не знает про женщин. Футах в двадцати от него приотворилась дверь, полоской света прорезав мрак. Вглядевшись в темноту, Бриджит и двое ее спутников сошлись ближе. Мужчина, за которого она придерживалась, потянул ее к себе. Потом

Бриджит откачнулась и сняла с голой руки нечто похожее на синий галстук Купера. Однажды в Таосе Купер видел змеелова, который, разжав гадине пасть, заставил ее отдать яд, капнувший на стенку мензурки; чуть слышный стук зуба о твердый стаканчик прозвучал как негодующий вскрик. Не шевелясь, Купер смотрел на Бриджит и мужчин. Возвращаясь в здание, троица шире распахнула дверь, и он попал в свет, но остался незамеченным.

Бриджит вышла на помост в дальнем конце бара, занимавшем одну сторону зала. На ней были кремовое платье с низким вырезом и небрежно завязанный галстук Купера. Дофин не одобрил бы такой комбинации. В ее пении удивляла не сила голоса и даже не его диапазон, но та уверенность великой актрисы, с какой она держалась на сцене, растягивая слова в манере Крисси Хайнд.[47] Такой Купер ее не знал. Органичные пританцовки, выкрики в толпу и превращение «Времени ведьм»[48] в необузданный блюз оша-

[47] Примечания: 47

Крисси Хайнд (р. 1951) — певица, композитор, автор песен и гитаристка, лидер англо-американской группы *The Pretenders* (с 1978 г.).

[48] Примечания: 48

«Season of the Witch» (1966) — песня шотландского автора-исполнителя Донована (р. 1946).

рашивали. Знакомым казался лишь галстук, болтавшийся на ее шее. Купер не сводил с нее глаз. В каждой песне она открывалась по-новому. Даже подустав, оставалась собранной. В приглушенном свете, пронизанном бликами от вертящегося шара, она разгуливала между музыкантами и, легко одолевая препоны мелодий, дразнила публику непристойным движением бедер. В ее исполнении не чувствовалось излишней заданности или контроля. Она была абсолютно раскрепощена.

После выступления Бриджит вместе с группой сошла со сцены. Кто-то подал ей большой стакан пива, который она залпом осушила. Ее уверенность сменилась детской радостью от похвал и объятий знакомых. Временами взгляд ее искал в толпе Купера, но не находил его. Держась поодаль, он наблюдал за ней из темноты. Сейчас, когда она еще не вполне остыла от сцены, в ней была интересна каждая мелочь, и он не хотел, чтобы с его появлением ее новый облик растворился.

Взгляд ее рыскал по лицам. Она чуть сникла. Купер вышел на свет (ее успеха), и ее робкая улыбка сказала, что ради него она готова все отринуть. Они обнялись; он ощутил ее взмокшие

плечи, отсыревшее платье и влажные волосы, мазнувшие его по щеке.

На другой вечер Купер ушел играть, а когда вернулся, ее нигде не было. Ни в его номере, ни в холле, ни в ее квартире. Он не знал, как с ней связаться, поскольку не имел ее координат. Оставался лишь безвестный человек из ресторана. Утром Купер объехал все скобяные лавки в радиусе двадцати миль от Санта-Марии. Где бы она ни была, он тревожился, не случилось ли чего. Хотя из квартиры исчезли все ее вещи.

Он повадился в кофейни и бары на трехмильной полосе городка и бродил по улицам, надеясь, что так сумеет ее отыскать. По утрам он все так же бегал, но теперь с еще большим рвением истязал себя на окраинах. После стольких лет он ощутил в себе пробуждение чувственности. Он ходил в спортзал, где устраивал спарринги с боксерской грушей, которые лучше трусцы помогали освободиться от мыслей. Он чувствовал в себе силу, но понимал, что она родом из его бессилия. Однажды он взглянул на свое тусклое отражение в гостиничном зеркале, надеясь прочесть в нем какую-нибудь подсказку. И ошеломленно понял, что сам угодил в зависимость.

Вам корреспонденция, сказал портье. На от-

крытке из Тахо не было ни текста, ни подписи — только его имя и адрес, начертанные знакомой рукой. На обороте в сумерках сияло казино «Харрас». Так Бриджит сообщала, где она.

Меньше чем через час теми же дорогами, какими они совершали ночные прогулки, Купер ехал на восток, удаляясь от побережья. У Карризо-Плейн-Монъюмент он свернул на север и по девяносто девятому шоссе доехал до Сан-Хоакин-Вэлли. Висалия, Фресно, Модесто и Сакраменто. Таинство. В Кармайкле он перекусил. К темноте добрался до сьерры. В дождевой дымке поселки вроде Серебряной Вилки и Земляники, через которые когда-то он сотни раз проезжал, мелькали точно призраки. Перед Тахо он снял номер в мотеле, где побрился и принял душ, намыливаясь тонюсеньким мылом, похожим на облатку. Надел свежую рубашку и галстук. Было около двух ночи, когда Купер выехал из мотеля.

Он сошел в Тахо — огни покоренного космоса вокруг сверкающего озера. Купер вылез из машины и посмотрел на горы, которые одолел. Чувствовался перепад высот. Возвращение в прошлое было осознанным риском, все могло измениться. Соблюдая правило не парковаться там, где работаешь, он поставил машину в гараж

«Дворца Цезарей» и пешком дошел до «Харраса».

Большой зал мягко ударил кондиционированным воздухом. Мышцы, гудевшие усталостью от многочасовой дороги, размякли. Усевшись на двадцатифутовый кожаный диван, Купер вытянул ноги и оглядел помпезный декор. Подскочил официант с выпивкой; Купер дал ему десятку чаевых и спросил «мокрый» эспрессо.[49] С высоким стаканом в руке он прошел к столам. Знакомые пока не встречались, однако ночь была юна. Пятнадцать часов назад он молотил грушу в спортзале, устланном астротурфом.[50]

Если маячить на виду, Бриджит меня отыщет, думал Купер, слоняясь по роскошным залам, полным рокота и бессистемной неспешной суеты. Наконец он подсел к столу. По обыкновению, первую сдачу умышленно проиграл. Партии шли живее, чем на юге, но играли любители. Четыре утра. Сна ни в одном глазу.

Через час, оторвавшись от карт, он ее увидел. Внутри что-то екнуло. Как давно она вот так стоит и наблюдает за ним, возвышаясь над другими

---

[49] Примечания: 49

«Мокрый» эспрессо — кофе, молоко, сливки; «сухой» эспрессо — кофе и сливки.

[50] Примечания: 50

Астротурф — синтетическое покрытие, искусственный газон.

зеваками? Закончив партию, он сгреб фишки. Нынче заработано достаточно, чтобы на южном берегу арендовать нечто миленькое, если кому-нибудь из них оно понадобится.

Купер.

Возле окошка кассы она схватила его за руку. Он ткнулся лицом в ее шею, белую, почти золотистую, с напрягшейся жилой, в которой, должно быть, таилась ее уверенность.

Они спустились по широким, выстланным ковром ступеням. Рокот Большого зала остался позади, и Купер вдруг вспомнил себя мальчишкой: в байдарке он свернул за излучину Сан-Антонио-Крик и тотчас потонул в реве порогов. Он шел следом за Бриджит. Она обернулась и сказала:

— Я только что из бассейна.

Поступь ее была легка. Казалось, больше ни в ком нет столь небрежной силы. Она излучала энергию, какой прежде в ней не было. В лифте она отстранилась от его объятий:

Подожди.

Будто это слово все объясняло.

Чего?

Надо поговорить. Ты здесь остановился?

Нет.

Хорошо, а то здесь тебе нельзя.

Он ничего не ответил; в молчании они добрались до «Дворца Цезарей», где стояла его машина и где он мог поселиться.

Часы показывали половину шестого, когда они сели завтракать. В окна восемнадцатого этажа смотрело подсвеченное огнями, но все еще темно-красное небо. Купер не спрашивал, почему ему не стоит здесь оставаться. Он чувствовал, что все это неспроста, а потому нужна осторожность. Надо выведать, что она затеяла. Ей что-то нужно, но в здании, где отовсюду смотрит «небесное око», об этом благоразумнее помалкивать. Ясно, что его выманили туда, где он не сможет брыкаться. Купер заговорил о ее былом сотрапезнике.

— Этот скобяной малый… — начал он; Бриджит молча помотала головой. — Как его зовут? Ты мне не говорила. Он живет в Тахо? Поэтому ты здесь?

Она все качала головой и лишь раз кивнула — да, человек из ресторана здесь.

В подземелье «Дворца Цезарей» он отпер машину и усадил Бриджит на пассажирское сиденье. Возникло знакомое чувство, что в подземном гараже воздух и тусклый свет остались с прошлого десятилетия. Купер медленно обошел «крайслер» и сел за руль.

Пожалуй, вернусь в Санта-Марию.

Хм. Она дернула головой.

Почему ты сбежала?.. Во что меня втягиваешь?

Давай просто уедем отсюда.

Нет.

Послушай…

Я еще не готов для солнышка.

Хорошо. Ее ладонь медленно скользнула по его руке. Ты же не иссяк.

Не волнуйся, дна уже достиг.

Она поцеловала его глаз, потом лоб, потом губы. Он не сопротивлялся. Ее рука лежала на нем. Они не целовались. Но были неизмеримо близки, когда смотрели друг на друга, почти соприкасаясь лицами. Дыхание, ни слова, и только взгляд — как обнаженный отклик. Оазис для усталых глаз.

Через двадцать минут на Невада-Инн-роуд она сказала:

— Хочу кое о чем тебя попросить…

Хозяин придорожной скобяной лавки узнал его в первый же вечер, поведала Бриджит. Его зовут Гил. Она работала на него и задолжала ему деньги.

— Он твой любовник?

Мы давно знакомы, сказала она.

Гил — игрок. С ним два приятеля, тоже игроки. Про Купера им все известно. Они знали о нем еще

до того, как он сел за столик в «Мартышке». Купер молчал и, подавляя желание шарахнуть кулаком в ветровое стекло, лишь про себя матерился, словно дурака свалял не он, а Бриджит, которая участвовала в подставе и заманила его в Тахо.

Припарковавшись, следом за ней он прошел в дом — из тех, что сдают в краткосрочную аренду. В большой, почти не обставленной комнате сидели три человека. Бриджит представила Купера, и троица с ходу заговорила о случае с Братией, помянув даже похабный жест «небесному оку», проморгавшему жульничество: спору нет, лихо. Бриджит разглядывала свои руки, словно была посторонней. Затем Гил изложил план, хитрый и замысловатый. Купер тотчас отказался и встал. Навалилась усталость. Игроки сыпали деталями, точно говорливые бесы. Он вышел из света, падавшего сквозь большие окна. В голове неотвязно крутилась сцена в машине, когда Бриджит так легко призналась в связи с этими людьми. Он понятия не имел, кто они. Пришлые. Постарше него, но он их в глаза не видел. Отказ не приняли, и тогда он их послал. Ни к чему повторять собственные ошибки. Купер двинулся к выходу. Один схватил его за руку, и он резко обернулся, готовый врезать. Троица смотрела понимающе.

Он вновь шагнул к двери; теперь Бриджит взяла его за руку, словно хотела, чтобы он почувствовал разницу прикосновений. Он обернулся; мужики таращились из дальнего конца огромной комнаты.

Купер, помоги мне. Все сработает. Я хочу вернуть свою жизнь.

Такую?

Мне нужны деньги, чтобы с ним расплатиться… Много. Ведь это всего лишь игра.

Он рассмеялся.

Сделаешь? Бриджит потянулась к нему, но он отшатнулся. Вспомнилось, как они с дружком мило болтали в «Мартышке», всегда увлеченные друг другом.

Сваливай отсюда, сказал он.

Ты не понимаешь. Нужна твоя помощь.

Объясни.

Есть один сон… не знаю… нескончаемый сон… Комната, расчерченная белыми линиями… возникают кристаллы, и ты говоришь себе: уходи, не колись, будет плохо. Однако нарк не может взять и уйти. Всегда колется. Даже во сне кайфуешь, но сознаешь, что впереди боль… Если б ты просто ушел…

Почему ты шепчешь?

Не понимаешь? Это обо мне.

Ясно. Он взглянул на игроков.

Мы с ним давно знакомы. Но сейчас я в беде. Ты должен мне помочь. Тебе нужно подумать? Я знаю… они дадут тебе еще один день. Подумай. Сейчас не отказывайся.

На южном берегу озера он снял шале. Ни злость, ни изнеможение не оттолкнули его от Бриджит. Но даже тяга к ней не помешала отвергнуть предложение Гила. То, чего от него хотят, ему по силам, но после этого он будет навеки заточен в их мире. Да, он смухлевал с Отри и Братией, но те сами не чурались жульничества. Нынче же хотели уделать простака. Эти трое слишком много знали о Купере. Они его выбрали, когда он даже не ведал об их существовании, задолго до того, как впервые увидел Бриджит. Он *никогда* не был невидимкой. Бриджит была нужна лишь для того, чтобы вытащить его в Тахо: поманила пальчиком, махнула юбкой цвета морской волны — и вот, извольте получить. Их роман предстал в ином свете: не он ее обхаживал и ублажал, а она — его. Вот вам его портрет в надувательской рамке.

Зазвонил телефон. Гил. Связь только через него. День на размышление. Мертвая тишина в трубке.

Значит, им известно, где он. Выследили. На краю пластикового стола Купер пытался сбалансировать кухонный нож, словно в этом таился ответ, как быть. Вовремя побеждай, вовремя проигрывай. Ежедневно все так поступают в жизни, делах, дружбе и любви. Тихая добродетель компромисса. Купер встал, оставив нож на столе.

Бриджит где-то там, в скопище огней на другой стороне озера. Если б сейчас она возникла на пороге и распахнула объятья, предлагая себя как подлинную истину, он бы кинулся к ней, вопреки зародившейся ненависти и безумному, проигрышному раскладу. Без нее никак. Невозможно не слышать ее смех, не стоять рядом с ней в затуманенной паром ванной, когда феном она сушит волосы и обдувает тело. Невозможно без ее спокойного, низкого, чуть скрипучего голоса, болтающего о мелочах; невозможно с десяток раз не поймать ее отражение в зеркале лифта; невозможно не чувствовать ее подле себя, когда в машине она забрасывает ноги на приборную доску, точно двенадцатилетняя девчонка. Без этого нельзя. За это он все отдаст, и плевать на расклад.

Затем произошла одна странность. Оголодав, на другой день он поехал в Тахо. Воображение

рисовало случайную встречу с Бриджит, но в закусочной он увидел Клэр. После стольких лет. Казалось, она вдруг обрела взрослый облик и манеры, но худенькие плечи цвета земляничного дерева, смуглая красота, сродни темному цветку, и пытливый взгляд остались прежними. Она упала к нему на грудь, и в тот же миг сквозь годы в ней проглянула былая Клэр. Знакомый жест заставил оглядеться — может, Анна тоже здесь? Но больше никого не было. Клэр выглядела усталой; он проводил ее в гостиницу и обещал позже с ней связаться. Потом вернулся в шале, рухнул в постель, но уснуть не смог.

Клэр помнилась верхом на лошади. Или со скребницей в руке и переброшенной через плечо уздечкой; или на корточках, когда в траве разглядывала красный воротничок ошейниковой змеи. Ведь именно Клэр нашла его, полуживого, в машине. И сейчас в ушах звучал ее крик. Он окоченел и не мог шевельнуться. Чуть повернув голову, он приоткрыл глаз и увидел девочку, которая изо всех сил дергала дверцу. Потом она исчезла. Сдалась. Он слишком обессилел и ничем ей не помог. Он уже летел в черноту, но встрепенулся, когда топор вдребезги разнес окошко, брызнувшее осколками на него и сиденье, и в

машину ворвался шум ветра. В дыре появилась рука, которая расшатала примерзшую дверцу, а потом возникла Клэр, которая пыталась вытащить его наружу. Он не мог разогнуться. Тогда она забралась на усыпанное осколками сиденье и, перебросив ноги через его колени, вышибла водительскую дверцу. Теперь стало проще. Она вытащила его из машины и через темный двор поволокла к дому.

Сонного, его сдернули с кровати. Усадили в гостиной и клейкой лентой не туго стянули руки за спинкой стула. Троица молчала. Казалось, все это во сне. Потом вошла Бриджит. Юбка, серый джемпер — вечером зябко. Она присела на скамеечку. Близко придвинулась к нему. Он чувствовал ее дыхание.

— Выбирай, Купер, — сказал один мужик. — Либо ты с нами, либо отправишься к чертям собачьим.

— Там я уже был, — спокойно ответил Куп.

Гил по-хозяйски взял Бриджит за плечо.

— Понимаешь, нельзя пару месяцев ее драть, а потом отказаться с нами работать, потому что ты «принципиальный». Ты шулер. Пора расплатиться. Мы выбьем твои принципы.

На секунду он ухватил золотистые волосы Бри-

джит и отошел в сторону.

— Посмотри сюда, — шепнула она. — Я дам тебе это, и ты ничего не почувствуешь.

На ее ладони лежал шприц. В нем взад-вперед покачивалась жидкость; он напоминал такую шариковую ручку, на которой с женщины соскальзывает черное платье или поезд исчезает в туннеле. Глядя на Купера, Бриджит прикрепила иглу:

— Это услуга… Или скажи, что работаешь с ними. — Она запнулась и смолкла.

Купер чувствовал на себе взгляды троицы.

— Ебешься с ним только ширнутая? — спросил он.

Кто-то из мужиков ударил его в лицо, и Купер вместе со стулом опрокинулся навзничь, припечатавшись головой об пол.

Стул подняли. На месте Бриджит сидел Гил, лицо его было так же близко. Локтем он саданул Купера в зубы.

— Теперь уже нельзя уйти. Согласись, мы все — бляди. — Он глубоко вздохнул.

Купер уловил какое-то движение, но не мог оторвать взгляда от его губ, и тут на него обрушилась Бриджит. Прикрывая его собой, она воткнула ему в шею шприц и потом выронила пустую

стекляшку на пол. Троица пыталась оттащить ее от Купера, который боком завалился к камину. Под натиском дури голова поплыла. Они очутились в Санта-Марии, и Бриджит сказала: «Это тебе. Здесь пять флажков. Желтый — это земля, зеленый — вода, красный — огонь, которого надо избегать…»

Дальше он ничего не помнил.

Личность, прежде известная как Анна

На тридцать четвертом году жизни я приехала во Францию исследовать жизнь и творчество Люсьена Сегуры. В «Орли» меня встретила моя подруга Бранка, и мы двинули на юг, минуя провинциальные городки, светляками мерцавшие в темноте. Больше года мы не виделись и теперь наверстывали в общении, всю дорогу неумолчно болтая. Мы почти опустошили приготовленную Бранкой корзинку с фруктами, хлебом и сыром, по очереди прикладываясь к стакану, регулярно наполняемому красным вином.

Около полуночи приехали в Тулузу. Все было закрыто, а до Демю оставался еще час езды. Бранка предложила сделать крюк через Барран, где ее архитектурная фирма реставрировала старую колокольню, и через сорок минут мы пробирались по узким улочкам поселка. Припарковались возле кладбища.

Разумеется, в багажнике нашелся дуговой фонарь, луч которого высветил странное сооружение, в темноте смахивавшее на копье или гигантский бобовый стебель; хотя больше всего оно напоминало неуклюжую водонапорную баш-

ню — место наших детских игр. Но эта штуковина была еще чуднее. Колокольне, построенной в тринадцатом веке, придали форму то ли змеевика, то ли штопора. Из-за своей неожиданной винтообразности она обозревала все стороны света. В темноте мы обошли церковь. Кто ж такое задумал и воздвиг? Бранка вспомнила древних историков, утверждавших, что зодчих вдохновила форма улиткиной ракушки. Были и другие объяснения: башню повело, ибо плотники использовали сырую древесину; колокольню скрутил ураган. Версии непросушенного стройматериала и безумного ветра моя подруга не принимала. Для нее пятидесятиметровая махина, взметнувшаяся «точно пламя в небо», являла собой наглядный пример зодческого искусства. Пока шла реставрация, случилась драка, в которой чуть не убили человека, добавила Бранка.

Мы вернулись к машине и покатили в Демю.

Я всегда любила ночные поездки с компаньоном, в котором тебе все привычно и понятно, с кем есть о чем поговорить. Это подобно виллане́лле,[51] что любит возвращаться к событиям прошлого, но не желает прямолинейного раз-

[51] Примечания: 51

Вилланелла — жанр итальянской бытовой вокальной музыки XV–XVI вв., возникший из крестьянской народной песни.

вития и кружит подле знакомых переживаний. Лишь перечитывание чего-то стоит, сказал Набоков. Причудливый облик колокольни, вновь и вновь оборачивающейся вокруг себя, мне что-то напомнил. Ведь и мы возвращаемся к детским воспоминаниям, что, переплетаясь, аукаются всю нашу жизнь; они подобны стеклышкам в калейдоскопе, образующим все новые узоры, и песенным рифмам с припевами, сочиняющим единый монолог. Что бы мы ни рассказывали, мы бесконечно излагаем историю своей жизни.

В поселках, что мы проскакивали, не горел ни один фонарь, и только свет наших фар метался по двухрядной дороге. Мы были одни в мире, в безымянной и незримой стране. Я люблю ночные поездки. Почти вся жизнь приторочена к твоей спине. Из радио тихонько доносится прерывистая музыка. Вы со спутником наконец-то смолкли. Его рука на твоей коленке удостоверяет, что ты никуда не уплыла. Темные живые изгороди манят тебя все дальше и дальше.

* * *

Всякий раз, когда грохочет гром, я думаю о Клэр. Воображение рисует ее счастливой в одиночестве, хотя я допускаю и уютное замужество. У

Генри Вогана[52] есть стихотворение, где говорится о том, как «любовь переходит в притворство». Может, в своем далеке я тоже притворяюсь, гадая, что сталось с сестрой и Купом? Я отыскиваю архивные подтексты в истории и искусстве, кружусь среди кучки незнакомцев и тку рассказ. Он всегда начинается с Клэр.

Тем, кто ее плохо знал, из-за хромоты она казалась серьезной. Клэр охромела после полиомиелита; я помню, как отец на руках носил ее из комнаты в комнату. Благодаря изъяну все были с ней чрезвычайно обходительны. В трамвае и на пароме мужчины тотчас уступали ей место. Но Клэр не чувствовала в себе серьезности. Вообще-то, серьезной следовало считать меня, ибо я во всем требовала определенности. Клэр же во многом была безудержной авантюристкой. В ее записях о путешествиях (разумеется, верхом) поминается сонм неведомых нам друзей…

> 7 января. В скалах искали собаку Кина. Кин всегда орал на пса «чтоб ты сдох!», но, по правде, любил его. Мы разделились и пошли вдоль ручьев, выглядывая жи-

---

[52] Примечания: 52
Генри Воган (1622–1695) — валлийский врач и поэт-мистик.

вую или мертвую псину. Так уже бывало, что мы искали животных и находили их мертвыми, будто в снегах случилась маленькая бойня. К вечеру мы отыскали дрожащего пса возле излучины Ричардсон. Он никогда не отличался дружелюбием, делая исключение лишь для хозяина, а тут вдруг нагрянуло столько народу. Мы «залебезили», как сказала бы Анна. Кин завернул Джорджа в одеяло, а мы напоили лошадей. Они хлюпали, точно младенцы, сосущие грудь. Появился олень, на боках дюжина пятнышек — божество. Вышел из-за деревьев и огляделся. Наверное, с ним-то Джордж и общался, а мы думали, что он совсем один. Кин ужасно обрадовался, всю обратную дорогу не выпускал пса из рук и без умолку балаболил.

3 октября. Старые белые деревья. Ночью с фонариками едем в осинник. Там сонные лошади колышутся, точно океан. Два часа обнюхивала их шеи. Хотела найти такую лошадь, чтоб уснуть на ее спине.

5 декабря. Подружка Бобби такой за-

морыш, что косеет с кружки пива. Когда умер его отец, она залезла к нему в кровать и молча его обняла. «Белый китель» Мелвилла — его любимая книга. Такие люди будто прячутся на глубине.

В своей работе иногда я заимствую натуру Клэр и ее внимательный взгляд на мир. Полагаю, этого не распознают ни рядовой читатель, ни сама Клэр, случись ей взять в руки мою книгу. Ведь я сменила имя. Если б она прочла мой труд, ее, наверное, впечатлили бы достоверность описания узды и подпруги в какой-нибудь средневековой сцене или дерганой походки того, кто в детстве перенес полиомиелит. Вообще-то, сестра не хромала, а подволакивала ногу, и я старательно изобразила ее походку, которая по-разному выглядела на косогоре, лугу и тротуаре и которую она скрывала, бывая в чужих домах.

Подобно Клэр, я стала осторожна в том, что принимаю и лелею, и тщательно дозирую жизненный опыт. Однажды я прочла очерк писателя, которого попросили вообразить идеальное поприще, и он сказал, что хотел бы отвечать за полоску реки ярдов в двести. Думаю, этот ответ очаровал бы Клэр, и она спокойно вручила бы

писателю свою жизнь. Видимо, дело в том, что всякие мелочи, важные в сельской жизни, неизгладимо остались в нашей памяти. Наверняка сестра помнит, как однажды Куп вез ее домой с чьего-то дня рождения: под желтым небом прибрежная дорога бежала вдоль пурпурно-черных холмов. И то, как он стоял на водонапорной башне, а мы смотрели на него из окна. И кота Верхолаза. Может, и странный случай с лисицей. Я убеждена, что она смогла бы зарисовать темную кухню из нашего детства: пять утра, на столе чашка с вином, хлебная горбушка и золотистый сыр; мы собираемся на дойку, в очаге сипит занимающийся огонь. Хотя я тоже это помню.

Мне кажется, почти безошибочно я могу представить жизнь Клэр. Я знаю ее. А вот Купа четко вижу лишь двадцатилетним парнем, в которого влюбилась и который перешагнул грань той близости, что была между нами. Ведь это естественно, правда? Сирота, вместе с нами он взрос на нашем маленьком поле стремлений. Он учил нас строить штакетник, из толченого конского каштана готовить приманку для рыбы. Эти маленькие премудрости нас сплотили. Но когда я воссоздаю параболу его жизни, я добираюсь лишь до точки, в которой он, застенчивый чужак, стал

моим тайным возлюбленным и в тот соучастный миг весь раскрылся.

Эта картина — зеленое небо, отец застал дочь в объятьях парня и хочет его убить, а девушка защищает любимого — сейчас кажется чем-то мизерным, что Брейгель уместил бы на дюйме-другом. Но эта мелочь спалила мою жизнь. Я видела безумие в глазах отца и обезумела сама, когда царапала его лицо и осколком кромсала его руку, схватившую меня за горло. Сейчас мне кажется, что ни одна дочь не изведала такой близости с отцом, желавшим удавить свою плоть от плоти, чтоб изгнать из нее дьявола. В его гневе сквозила безмерная любовь ко мне. Но я в нее не поверила. Когда он вынес меня из хижины и потащил с холма, я думала лишь о том, что во мне живет сердце Купа. Я вопила на весь дом. Отец ничего не сказал Клэр. Затолкал меня в грузовик и повез прочь, словно расстояние могло выхолостить то, что было у нас с Купом. На сборы я получила всего минуту. Из альбома вырвала нашу с Клэр фотографию и схватила один ее дневник. Я уже знала, что сюда не вернусь.

Что никогда не увижу Купа.

На стоянке грузовиков, где-то южнее Сан-Хосе, я сбежала. Вошла в одну дверь, тотчас вышла в

другую и села в попутку. Я исчезла. Думаю, лишь минут через десять отец понял, что произошло. Наверное, метался по шоссе, заглядывал в окна проезжавших машин, поднял на ноги полицию, искал меня в городках Гилрой, Санта-Клара, Сан-Хуан-Батиста. Домой он вернулся через несколько дней. К тому времени необычная снежная буря покинула петалумские холмы. Я стала беглянкой. Наверняка пропал и Куп.

Кто оправится от таких передряг? Видишь уже немолодых людей и понимаешь, что где-то на тропке жизни они превратились в Червового валета или Пятерку треф. Видимо, это же произошло со мной и Купом. Ведомые нашими прежними «я», мы стали непостижимы в своих тайнах. Клэр же всегда будет частью нашего романа, который лишил ее семьи.

«Бывает, в утробе один зародыш неумышленно поглощает другой, и в нем сохраняются фрагменты поглощенного близнеца. (Выживший плод развивается, а фрагменты остаются в зачатке)». Написано великолепной Энни Диллард.[53] Возможно, это судьба двойников. Я выкрала себя у той, что была мною. Кто в нашей семье выжив-

[53] Примечания: 53

Энни Диллард (р. 1945) — американская писательница, лауреат Пулитцеровской премии.

ший зародыш? Я или Клэр?

А кого поглотили?

* * *

Историю любят те, кто в ней чувствует себя сиротой. Вот и мой голос обрел сиротские нотки. Возможно, я стала историком-архивистом благодаря неведомой жизни матери, ее едва очерченному образу. Если не ворошить прошлое, подпитываешь пустоту. Моя работа в том, чтобы выискивать глухие закутки европейской культуры. Самое известное мое исследование посвящено Огюсту Маке[54] — помощнику Александра Дюма, разработчику его сюжетов. Еще я создала портрет Жоржа Вага[55] — профессионального мима, который в 1906 году натаскивал Колетт для мюзик-холльной программы. Моя сфера — тайные свидания искусства и жизни. Как сказал поэт, старина — моя Утопия; несомненно, друзья мои знают, что современная жизнь кажется мне пастбищем худосочным и малоинтересным. Воз-

---

[54] Примечания: 54

Огюст Маке (1813–1888) — «литературный негр» Александра Дюма; в конце жизни подал иск о признании его соавторства, но процесс проиграл; оставил наследникам огромное состояние.

[55] Примечания: 55

Жорж Ваг (1874–1965) — французский актер.

можно, так оно и есть. Если Рафаэль спрашивает, в какое время я бы хотела жить, я без запинки отвечаю: в Париже, в те дни, когда умерла Колетт, а Жорж Ваг устроил так, чтобы на ее похороны Ассоциация мюзик-холлов и цирков прислала тысячу лилий… Хочу в своей майке с надписью «Против Сент-Бёве»[56] стоять там, говорю я, и смотреть на окна ее апартаментов на втором этаже Пале-Рояль, где «любовно отобранные слова больше не выстроятся на бледно-голубом листке под светом синей лампы».

Жорж Ваг, наставник Колетт в пантомиме, открыл ей два важных секрета, распознав в ней скрытое умение выразить себя без слов. Он понял, что эта женщина обладает иными способностями. Она умела быть мощной в молчании. В саду Натали Барни[57] он взял ее за руку и отвел в сторону; едва Колетт заговорила, он приложил палец к ее губам, и взгляд ее полыхнул живым огнем. Она не спускала глаз с его лица, ожидая

---

[56] Примечания: 56

«Против Сент-Бёве» (1908–1909) — эссе французского писателя и философа Марселя Пруста (1871–1922).

[57] Примечания: 57

Натали Клиффорд Барни (1876–1972) — французская писательница американского происхождения, автор стихов, романов, мемуарной прозы. В двенадцать лет поняла, что предпочитает женщин мужчинам, и прожила открытой лесбиянкой, отличаясь влюбчивостью и непостоянством. Колетт — одна из ее избранниц.

знака. Рука его безвольно упала — мол, никаких представлений. Они шли по дорожке. Мимы живут долго, сказал он. Второй секрет она уже знала. Ничто не дает такой уверенности, как маска. Под маской можно вписать себя в любое место и любую форму.

Вот тогда-то я поняла, что порой мы все надеваем маску. Личина третьего лица нас спасает и охраняет. В «Отверженных» Виктор Гюго вводит в реальный парижский пейзаж вымышленную улочку, которой Жан Вальжан спасается от погони. Как же она называлась? Не помню. Я жила на Дивисадеро-стрит. Дивисадеро происходит от испанского «division» — межа, что некогда отделяла Сан-Франциско от лугов Пресидио. Другая версия гласит, что источником стало слово «divisar», означающее «смотреть издали». (Близлежащая «высотка» называется Эль Дивисадеро.) Место, с которого смотришь вдаль.

Наверное, этим я и занимаюсь. Вдали высматриваю тех, кого потеряла, и вижу их повсюду. Даже здесь, в Демю, где жил Люсьен Сегура, где я «переиначиваю замену, будто небрежные склад-

ки шарфа».[58]

Я и сейчас не знаю, чем было вызвано желание изучить жизнь Люсьена Сегуры и написать о нем. Что заставило в архивах Беркли исследовать почти исчезнувшие следы его пребывания в Жере. Я читала его произведения, когда училась в женском колледже Рандольф-Мейкон. Но главное, в лингафонной кабинке библиотеки Беркли я впервые услышала его голос — когда-то он начитал свои стихи в лакированный ящик с жестяным раструбом, подобным огромному уху незнакомца. В записи, сделанной Французской академией на заре двадцатого века, его голос тонул в шорохах, похожих на шум прибоя и шипенье огня. И все же я расслышала в нем затаенную боль, как в старой хронике по замедленным движениям королевской особы угадываешь скрываемую хворь. После чтения стихов он заговорил об отце, вернее, отчиме, который был часовщиком, и я, отложив конспект по курсу доктора Вебера о сельской жизни, прислушалась. Я уловила в нем тихую грусть и надломленность, как от погибшей любви. Мне это было знакомо. Тогда я знала лишь

[58] Примечания: 58

Из поэмы «Утопия» канадской поэтессы Лизы Робертсон (р. 1961). Подстрочник строфы: «И коль для себя я стала невнятной, / Ибо отказалась верить, / Я переиначиваю замену, / Будто небрежные складки шарфа».

о его странном уходе из семьи: на закате жизни, уютной и успешной, он вдруг сел в повозку и исчез. Меня преследовал его пронзенный болью голос. Я поехала во Францию — в дом, где прошло последнее действие его жизни. Разыскивала места, которые он описывал. Совершала долгие прогулки. Купалась в ручье. Бродила по его аллее. Встретила Рафаэля.

Минут через семь после того, как на стоянке под Сан-Хосе я сбежала от отца, личность, прежде известная как Анна, забралась на сиденье рефрижератора. Всю ночь мы ехали на юг, водитель, застенчивый чернокожий, считал, что подвозит француженку. (Я молчала, не желая ничего объяснять.) Изредка мы останавливались перекусить, но у меня от страха сводило живот, и я почти не ела. В придорожных закусочных шофер наворачивал фаршированные перцы с салатом из агуакате, с телевизионных экранов синоптики докладывали о невероятной снежной буре, накрывшей север Калифорнии. Еще вчера я была с Купом на его помосте, светило солнце, в безветрии погромыхивал гром, а сегодня я сидела за столиком с учтивым и добрым незнакомцем. Я молчала. По-английски не произнесла ни слова, всю дорогу до Большой Центральной равнины

говорило лишь радио.

Мы проехали через Большую Калифорнийскую долину, некогда являвшую собой море цветов. Джон Мюир[59] описывает «бескрайнее покрывало из кендаря… столь невообразимо густое, что каждый твой шаг затаптывает сотню цветков». Временами здешние места напоминали подлинное море. «Вся долина превратилась в океан. Многие утонули. Кое-кто пытался спастись вплавь, но их пожирали лягушки и рыбы. Лишь два народа, которых вынесло в сьерру, уцелели». Так легенда племени майду повествует о рождении Большой Центральной равнины. Первопроходцы дали рекам имена: Сакраменто и Мерсед. Таинство и Милость. Охотник Кит Карсон промышлял возле «заросших речных русел». В суровых беспокойных краях обитали бандиты и воры — Хоакин Мурьета (уверявший, что ел страуса), Джонни Воскресенье, Трес Дедос (Трехпалый Джек), Далтоны. Они разбивали стоянки под Висалией, позже превратившейся в несуразный сонный городишко. Байки учат, что у тихонь бурное прошлое.

Ныне разровненная отверделая земля ис-

[59] Примечания: 59

Джон Мюир (1838–1914) — организатор американской службы национальных парков, автор публикаций в защиту природы.

пещрена переплетениями железных дорог и внушительной симметрией каналов, словно Господь впечатал в нее свою схему, придав ей здравый смысл. Теперь у нас есть низкогорные цивилизации Пиксли и Портервилля, огни Баттонуиллоу и Туларе. Однажды Куп провел бурную ночь с девицей из Туларе, о чем стыдливо вспоминал. Он «переспал» с ней, как «спал» со мной. Проклятие, что обрушилось на нас, еще не истлело. Кто-нибудь из прошлого мог бы сказать обо мне: «В жизни этой женщины есть черная метка». Но вряд ли скажет. Семья хранит свои тайны. Ведь о прошлом Большой долины остались лишь туманные слухи — о неудержимых уголовницах и свирепом Юджине Ки, который, став шерифом Туларе, отсек Трехпалому Джеку левую руку и почтовым дилижансом отправил ее в Висалию, знаменуя сомнительную победу.

Наш рефрижератор ехал по древнему морскому дну. За окном мелькали фруктовые сады, орошаемые скоротечными дождями. С той поры я прочла всю историю Большой Центральной равнины, узнала о прекрасном и незабвенном

Алленсуорте.[60] Я прочла «Спрут»,[61] где Туларе переименован в Боннервиль, и узнала о переселенческих волнах, привнесших мелодики иных языков — тагальского, испанского, итальянского, китайского, японского. Их носители рыли ирригационные каналы, превращая болота в цветущие сады, и в одуряющий зной добывали асфальт, как мой дед; они работали практически голые, с ног до головы вымазанные нефтью, которую отводили от выработки подле Асфальто.[62] Еще одно место, поименованное в честь полезного ископаемого. Сколько их на карте мира? Думаю, больше тех, что названы в честь королевских особ.

Мне было шестнадцать, когда с Купом в сердце я бежала от отца. Мои скитания среди чужаков продолжались еще десять лет; сама по себе,

---

[60] Примечания: 60

Алленсуорт — район в округе Туларе, где в 1906 г. был город, основанный афроамериканцем, подполковником (впоследствии полковником) Алленом Алленсуортом для чернокожих граждан, чтобы «они владели собственностью, учились и процветали, осуществляя „американскую мечту“». Сейчас там Исторический парк имени Алленсуорта.

[61] Примечания: 61

«Спрут» (1901) — роман американского писателя и журналиста Бенджамина Франклина Норриса (1870–1902) о жизни и борьбе за свои права фермеров долины Сан-Хоакин.

[62] Примечания: 62

Асфальто — поселение в округе Керн, Калифорния, на картах значилось до 1932 г.

ни с кем не сближаясь, я медленно возводила уверенность в своем одиночестве. В ту первую поездку из просторной кабины рефрижератора я безотрывно пожирала все вокруг, дабы смыть то, что жило во мне. Радио наигрывало песню Бака Оуэнса «Вновь очарован тобой»,[63] я заглотнула и ее. В машину я забралась на стоянке сто первого шоссе; по счастью, водитель сперва направился в Мерсед *(Милость),* а затем по девяносто девятому шоссе двинул на юг. Такой маршрут разводил нас с отцом. В Динубе шофер заправился мексиканскими блюдами, потом были Катлер и Висалия. В сумерки мой загадочный новый друг взял курс на юго-запад, где, сказал он, можно заночевать. Взошла луна, рефрижератор миновал апельсиновые рощи, тюрьму и въехал в опустелый город Алленсуорт. Он обезлюдел больше сорока лет назад, сказал шофер. Кроме нас, там никого не было.

В темноте я разглядела контуры десятка-другого домов. На стоянке шофер выбрался наружу, предоставив мне кабину. Я вытянулась на потертом кожаном сиденье. Наступала последняя ночь

---

[63] Примечания: 63

Бак Оуэнс (Элвис Эдгар Оуэнс-младший, 1929–2006) — американский певец и гитарист; со своей группой *Buckarooos* («Ковбои») двадцать один раз занимал первую строчку в кантри-хит-параде. Создатель «бейкерсфилдского звучания», названного в честь его родного города. «Under Your Spell Again» — его хит 1959 г.

моей юности. Сколько могла, я таращила глаза. Слушала ночных птиц. Потом прислушивалась к поездам, от которых всю ночь сотрясалась земля.

Утром я бродила среди прелестных пастельных домов в покинутом городе полковника Алленсуорта. Вместе с шофером мы поднимались на крыльцо каждого строения, прохаживались по верандам и читали таблички, извещавшие, что в 1912 году в этих домах располагались магазин, гостиница, школа, библиотека. Заглядывая в окна, мы видели древнее механическое пианино, портрет Линкольна. В поездках я всегда останавливаюсь в этом бывшем городке черных, сказал водитель. Потом мы вернулись к машине, припаркованной под деревьями, и выехали на шоссе. Было рано, нас окутывал туман, прозванный наземными облаками. В открытые окна лился птичий щебет, в белом мареве через дорогу шныряли красноплечие черные трупиалы.

Шофер говорил со мной по-английски, но я больше отмалчивалась, изредка отвечая на мамином испанском или своем неуверенном французском. Он видел, что меня донимает свежая рана, что я чем-то отравлена. Но все равно рассказывал о полковнике Алленсуорте и городке чернокожих, в котором с 1916 года не останавливались поезда.

Наверное, он знал, что я все понимаю, потому что говорил открыто и временами ждал ответа. В какой-то момент этого последнего совместного утра он заговорил о том, что книги подают нам знак о вероятных событиях в жизни и процитировал изумительные, на его взгляд, строки. «Стану ли я героем повествования о своей собственной жизни, или это место займет кто-нибудь другой — должны показать последующие страницы».[64] В то время я не знала, откуда эти строки, и когда впоследствии на них наткнулась, то замерла и расплакалась, впервые в своей взрослой жизни.

В Бейкерсфилде шофер меня высадил, сунув мне в карман немного денег. По улицам затрапезного города я пошла навстречу своей жизни. За всю поездку шофер ни разу ко мне не прикоснулся. На стоянке я его поцеловала. Мой последний чистый поцелуй. Потом я долго никого не целовала. Сейчас мне кажется, что на юг меня привез мистер Алленсуорт.

Я мечтала, что когда-нибудь расскажу об этом Купу — в письме или по телефону. Но он, моя первая любовь, исчез, а я была слишком далеко, в другой жизни.

---

[64] Примечания: 64

Начальные строки романа Ч. Диккенса «Жизнь Дэвида Копперфилда, рассказанная им самим» (перевод А. Кривцовой и Е. Ланна).

Споткнуться об имя

~~~

Альдо Ви понадобилось два дня, чтобы вычислить Купа по телефонному номеру, продиктованному Клэр.

— Шале на южном берегу озера, — сказал он. — Видимо, съемное жилье.

Клэр припарковалась у подножья холма. Пожалуй, «шале» — слишком громко сказано. Одолев половину крутого подъема, она окликнула Купа. Потом поднялась к дому и сквозь распахнутую дверь увидела его: привязанный к плетеному стулу, он лежал ничком. Куп — парень крепкий, но кто-то в кровь его измордовал. Он был в сознании и уставился на нее, когда она повернула его набок. Шея в темных кровоподтеках. Значит, прошло сколько-то времени.

Приехала «скорая». На все вопросы — кто это сделал? где сильнее болит? в глазах плывет? — Куп лишь мотал головой. Клэр сказала, что останется с ним. Повезло ему, кивнули врачи, пригляд-то нужен. «Скорая» отбыла; выполняя предписание, Клэр несколько раз его будила —
~~~

проверяла, как он. Потом Куп сам очнулся, и она приготовила ему яйца всмятку. Он разговаривал, но тяжело задумывался над каждым вопросом. Вспомнилась его смущенная улыбка в ответ на реплику о бандитской походке. С тех пор прошло всего два дня.

Что случилось? Это как-то связано с твоим делом?

Делом, тупо повторил он. Какое дело?

Покер.

Куп искал ответ, точно запропастившийся карандаш или зажигалку. Он не понимает, о чем я говорю, подумала Клэр.

Ты играешь в покер.

Ухмылка.

Ты игрок. Вот твое дело. Знаешь, как меня зовут?

Молчание.

Ты меня помнишь? Помнишь Анну?

Анна… — протянул он, словно учился выговаривать новое слово.

Спасибо, Анна, сказал он, когда она убрала поднос с нетронутыми яйцами.

Термин санскритской поэтики *готрасхалана* (буквально — «споткнуться об имя») означает, что в постели любовник назвал свою подругу чу-

жим именем. Он часто встречается в старинных байках о супругах и прелюбодеях, собранных филологом Уэнди Донигер.[65] Мол, подобные оговорки высвечивают огромный запасник фактов и желаний, хранящихся в мозгу. Когда Куп вполне логично принял ее за Анну, в голове Клэр будто вспыхнула лампочка, озарившая нехоженую тропу. Что ж, пусть, подумала Клэр, ради интереса.

Казалось, память прежнего Купа бесследно сгинула. Верность сохранили одни моторные навыки. В бакалейной лавке Клэр купила колоду карт и ручку «Шарпи».

Сдавай, сказала она, вернувшись в шале, и Куп ловко разложил пятьдесят две карты на четыре кучки. Но игру не вспомнил, пока ему не объяснили основные правила. Вот тогда он быстро сориентировался. Куп все запоминал, но терялся, если его ставили перед выбором. Назавтра Клэр безуспешно попыталась вывести его из заблуждения насчет ее имени. Первый урок запоминается крепче.

В беспамятстве что остается от желания, снедавшего Купа? Куда оно пропадает? Теперь

---

[65] Примечания: 65

Уэнди Донигер (р. 1940) — профессор Чикагского университета, автор работ, в которых элементы индийской мифологии трактуются в контексте современных взглядов на личностную сексуальность.

вместо великолепно отстроенной одержимости — прискорбная утрата биографии. Когда на четвереньках Куп стоял на тонком паласе шале, могло показаться, что он лихорадочно ищет физическую сущность, страстно желавшую оказаться в чужом теле. Вскоре он уже не сознает, чего лишился; роль плоти бессловесна, мозг не хочет даже намекнуть, к чему некогда она так пылко стремилась. На односпальной кровати он погружается в благостный сон, не помня событий недели, не сознавая, откуда взялись его раны, не мучась жаждой мести. Желание и одержимость столь хрупки. Гиппокамп съеживается, и мы перенаправлены в пустоту.

Лица стали безымянны, словно тени в траве. Кто эта женщина рядом с ним? Другая женщина встает с постели. Когда это происходит? Он утягивает ее под струи душа, ее золотистые волосы темнеют, облепляя незнакомое лицо, которое не связано с каким-нибудь домом или улицей. Приятно быть с ней в тесноте ванной, наблюдать ее вялую силу. В капельках воды, она достает из ящика фен, пробует его на руке и сушит волосы, взрыхляя их, точно пшеницу. В обрамлении светлой шевелюры лицо ее стало другим. Она переводит струю теплого воздуха на тело, потом

выдергивает шнур из розетки; с глухим ворчаньем фен умолкает.

* * *

Ночью, сидя на корточках подле его кровати, она прислушивалась к его дыханию. Вглядывалась в избитое, заросшее щетиной лицо, пытаясь отыскать в нем знакомые черты. Куп. Половина ее жизни прошла с ним и Анной, но в залитой лунным светом комнате она видела лишь неясную тень того юноши. Он открывал глаза, явно не понимая, где он и что с ним. Смотрел сквозь нее.

Хочешь пить?

Да.

Вот. — Она подносила стакан к его пересохшим губам.

Днем они бродили по тропинкам холма. Если Куп уходил один, на его руке Клэр писала номер своего мобильника. Однажды вечером, поджидая Купа, у подножья холма она увидела свет фар, а потом трех мужчин, взбиравшихся к шале. Встреча с ней их удивила. Они спросили о Купе, но Клэр притворилась, будто не знает, о ком речь. Дескать, прежний постоялец смотался в город, даже вещи не взял. Теперь вот она снимает жилье. Клэр назвала имя владельца, которое

знала от Ви. Незнакомцы забрали шмотки Купа, обещав наведаться, — вдруг парень объявится. Клэр позвонила Ви и обо всем рассказала; она была уверена, что именно эти трое чуть не убили Купа.

— Понятно, сматывайтесь. Немедленно. Без всякой логики, куда глаза глядят.

Они рванули вглубь Невады, в пустыню. Останавливались, только чтобы поесть и передохнуть — иногда ночью, иногда в разгар дня. Клэр купила «поляроид» и на каждой остановке делала снимки, надеясь, что они помогут Купу вспомнить настоящее. Установив камеру на капоте, она включала автоспуск, подбегала к Купу и напряженно ждала щелчка, который позволит расслабиться. Мучительно тянулись секунды натужной близости, от яркого солнца слезились глаза.

Рулить сможешь?

Вроде нетрудно.

Ну да, конечно. Коль сдал карты, сумеешь и рулить.

Они поменялись местами. Повернув к себе зеркало заднего вида, Куп глянул на свое лицо в ссадинах и следах йода и решительно развернул зеркало обратно, словно теперь ясно знал все, что

с ним было. Привалившись к дверце, Клэр смотрела, как он уверенно справляется со сцеплением и ручкой скоростей. Ей снова было пятнадцать, и Куп учил ее водить.

Она задумалась, куда ехать. Только ли в Тахо его выцеливала опасность? Клэр не ведала, насколько широк его мир. Вспомнив совет Ви ехать наугад, она велела Купу развернуться; теперь они двинули на север Калифорнии, минуя былые городки старателей. На местной карте Клэр высмотрела поселок Хасс, угнездившийся в холмах. В полдень они подъехали к двухэтажной кирпичной гостинице, где сняли единственный свободный номер. Куп скинул рубашку; кровоподтеки на его груди и руках уже приобрели гадкий желтоватый оттенок. С тех пор как покинули Тахо, на боль он не жаловался. Клэр вспомнила запах лошадиной мази, которой в детстве они с Анной натирали друг друга, прозвав ее «ковбойские духи». Уступив Купу кровать, она легла на диване. Оба уединенно молчали в рукотворном сумраке номера, за окном которого ярко полыхал день.

Как ты?

Нормально.

Тело Клэр гудело усталостью.

Расскажи о себе, Анна. Как мы познакомились?

Она молчала.

Ты знала, что я умею водить.

Что?

Ты сказала, я умею водить машину.

Ну да, многие умеют.

Я игрок.

Да, ты это сказал, когда мы встретились.

Они помолчали; Клэр хотела подтолкнуть его к прошлому:

Помнишь случай с лисой?

Лиса…

Оба смолкли. Наверное, он задремал. В Клэр тлел его вопрос: «Как мы познакомились?» Анна, Куп и Клэр. Клэр всегда воспринимала их троицу как японскую трехстворчатую ширму: каждая створка сама по себе хороша, но рядом с двумя другими открывает свои иные качества и тона. В этих ширмах она видела больше смысла, нежели в обрамленных картинах, существовавших вне контекста. Да, судьба их разбросала, но все равно их жизни связаны. Пути, что привели их в семью, очень схожи. Сирота и приемыш… С того дня, как ее вместе с Анной привезли из больницы Санта-Розы, они с Купом стали близки, точно брат и сестра. Рядом с ним прошла важная часть жизни,

разделить их невозможно.

Клэр подошла к его кровати; в сумраке заставленной комнаты лицо его казалось землистым. Куп открыл глаза, но вновь смотрел сквозь нее. Губы его пересохли. Воды в номере не было. Даже рукомойника. Душ внизу в холле. Клэр сплюнула на пальцы и провела ими по губам Купа; горло его дернулось в попытке сглотнуть. Он перехватил ее руку и секунду удерживал в своей руке.

Анна, сказал он.

Нет, отозвалась она, не Анна.

Клэр вернулась на диван; в полумраке разглядывая Купа, она старалась припомнить подробности их разговора в закусочной. Кажется, он говорил о своих неурядицах.

«Дела швах», — небрежно бросил он.

Однако ты играешь?

Раз-другой в неделю. Раньше играл без продыху.

Не понимаю… что за радость?

Ничуть не хуже всякой занудной работы. Люди живут полной жизнью. Один мой приятель, Череп, занимался политикой. И славно играл в казино Грасс-Вэлли.

Вы еще дружите?

К сожалению, нет.

Похоже, вы зря расстались.

Потом она спросила:

Нашу ферму когда-нибудь вспоминаешь? Он не ответил. И она не стала нарушать молчание.

Однажды Ви спросил: «Как думаешь, в чем твое предназначение?» Она не знала. Думала, что вопреки стремлению к организованной вселенной жизнь ее, раздробленная на множество мелких частей, не имеет великой цели. Однако нам весьма свойственно занижать самооценку, и со стороны мы видимся совсем иначе. Скажем, короткая встреча с Купом в Тахо запомнилась счастьем от того, что он идет рядом, себе же Клэр казалась невидимкой. Было радостно просто идти с ним, лелея усталость, и слушать рассказ о его мире. Его внезапное возвращение в ее жизнь было сродни богоявлению, а громкие названия городов — Вегас, Грасс-Вэлли, Невада-Сити, Тахо — будто сошли с карты для взрослых. Если б ей сказали, что Куп думает об ее смуглых плечах и вспоминает, как она спасла его в ту снежную бурю, что, скорее всего, она — героиня встречи, Клэр бы этому не поверила. В воспоминаниях мы всегда видим себя зрителем или слушателем, этаким барабанщиком, что на заднем плане поддерживает ритм.

Когда Клэр проснулась, комнату заливало солнце. Куп, уже одетый, ждал ее пробуждения.

— Надо съездить в Грасс-Вэлли и кое-кого разыскать, — сказала Клэр. — Погнали обратно.

Они направились к соседу Невада-Сити — Грасс-Вэлли, где, возможно, еще существовало казино, в котором обычно играл Купов приятель Череп. Клэр понятия не имела, как зовут этого человека и живет ли он в этом городе.

В Невада-Сити они перекусили, после чего Клэр, оставив Купа в фойе отеля «Националь», отправилась в магазин за планшеткой для объявлений. Вечером она стояла у входа в «Золотую лихорадку», держа перед собой табличку с надписью «ВЫ ДРУГ КУПЕРА?» Часов в десять к ней подошел мужчина в ожерелье из ракушек и спросил, кто она такая.

Дорн сел в машину и посмотрел на Купа. Протянул руку к его избитому лицу. Не коснулся, лишь протянул. Он предложил оставить машину Клэр в Грасс-Вэлли и помог Купу перебраться в свой «универсал». Охотничий пес, занимавший переднее сиденье, не выразил ни малейшего желания пересесть назад.

Дорн обитал в скромном бунгало в паре миль от города. Он принялся готовить блюдо под названи-

ем «сюрприз от брокколи»; вскоре с шестилетней дочкой приехала Рут и застала полный дом гостей. Она обняла Купа. Дорн объяснил ситуацию, дочкину спальню освободили для Купа и Клэр.

Поужинав «сюрпризом», в котором брокколи не оказалось, Рут осмотрела Купа.

Давно мы с ним не виделись, сказала она Клэр.

Хорошо его знали?

Да, я считалась «своим парнем», а Куп был «неприкасаемый».

Клэр радовалась тому, что Куп среди старых друзей, но сам он оставался безучастным к любви и заботе, какие они излучали. Раскурив для Клэр косяк, Дорн поведал историю с Братией и припомнил всякие смешные случаи, в которых фигурировал модник Дофин. Клэр рассказала о детстве в Петалуме. Так из кусочков складывалась жизнь Купа, который безучастно озирал комнату, трепетавшую занавеску и коричневую туфлю Клэр, притоптывавшую в такт музыке.

— Хорошо бы на пару дней остаться у вас, — сказала Клэр. — Потом уедем.

— Живите сколько нужно, — ответил Дорн.

Пес, сидевший рядом с ним на диване, не сводил с него внимательных преданных глаз. Говорит Хозяин. Клэр стало хорошо и спокойно с этим

семьянином, который некогда был тощим хиппи, опекавшим Купа, точно заботливый старший брат.

Ночью Клэр услышала, что кто-то шебаршит подле ее кровати. Уловила чье-то дыхание. Она испугалась, что в дом проникли те, кто изувечил Купа. Пес вскочил на кровать, прикинул, с какой стороны лучше лечь, и зарылся под одеяло, царапнув Клэр. Сначала он лежал тихо, но потом, возжелав больше места, мягко, но решительно уперся ей в спину когтистыми лапами, похожими на дужки камертона.

В восемь утра Рут ушла на службу. Расстелив на диване большой отрез велюра, с помощью Клэр Дорн кроил костюмы для средневекового праздника. На это ежегодное событие, проходившее в общественном центре, все являлись в нарядах королей, крестьян и трубадуров. Портняжью работу Дорн совмещал с жаркой огромной вырезки, нашпигованной чесноком и травами. Он настаивал, чтобы Клэр и Куп участвовали в празднестве. Будет куча местного народу. Трудясь над пелеринами и капюшонами, все утро Дорн распевал свои любимые песни. Он исполнил все

куплеты «В Делавере, когда я был молод»[66] и даже присочинил новые.

— Вот уж песня! Всем песням песня!

К пяти вернулась Рут с дочерью, и вскоре семейство преобразилось в европейских селян четырнадцатого века — лишь неотъемлемые бусы и ракушки Дорна напоминали о современности. Вдвоем с Купом они тащили гигантское блюдо с мясом, а Рут несла миску с соевыми бобами. Узкие улицы Невада-Сити заполонила антивоенная демонстрация, маршировавшая под аккомпанемент мандолин и флейт. Двенадцать лет назад, в 1991-м, американцы бомбили Залив, а сейчас вновь готовились атаковать Ирак; весь день радиостанции передавали военные новости. Клэр шла меж средневековых монахов, которые несли антивоенные лозунги.

На первый танец Дорн потащил упиравшуюся дочку, а минут через пятнадцать схватил и Клэр, прижав ее к своему дублету. Она положила голову на плечо этому уроженцу Делавера (как в песне), бывшему анархисту-хиппи и теоретику заговоров, а ныне удачливому игроку в покер

---

[66] Примечания: 66

«In Delaware when I was younger…» — так начинается каждый куплет в песне Лудона Уэйнрайта III (р. 1946) «School Days», первой с его первого альбома (1970).

и благородному фермеру, обитателю города у подножья холмов.

В конце вечера Дорн нарушил атмосферу средневековья, уломав школьный бэнд сыграть «Огонь на горе».[67] Но перед тем еще много чего было. За ужином, накрытым за декорированными складными столами, Куп сидел рядом с пятилетним мальчиком. Они почти не разговаривали, потому что малыш внимательно слушал транзистор. Потом он выключил приемник и сказал, что американцы бомбят Багдад. Куп испугался. Мальчик обронил новость небрежно и хотел поведать детали, но Куп его перебил, показав на Дорна, которого узлом скрутил хиропрактик:

— Расскажи тому дяденьке.

Малыш дождался, когда Дорна отпустят, и дернул его за рукав. Взрослые нагнулись к нему, но вокруг было так шумно, что они не разобрали ни слова. Дорн взял мальчика на руки.

— Что случилось, Финнеган? — спросил он; мальчик поделился новостью.

---

[67] Примечания: 67

«Fire on the Mountain» — песня *Grateful Dead* с альбома «Shakedown Street» (1978). Впрочем, может иметься в виду и одноименный блюграсс-инструментал — плясовая для скрипки, известная в США по меньшей мере с середины XIX в. (в вариантах с текстом имеет названия «Run Nigger Run», «Run Jimmie Run» и т. п.).

Опустив его на пол, Дорн замер. Потом подошел к жене и взял ее под руку, прислушиваясь к ее разговору с подругой. Рут на него взглянула; погладив ее руку, он чуть потянул ее к себе. Они отошли к боковой двери. Человек, которого называли другом Купа, стоял в дверном проеме под красными, синими, желтыми и белыми треугольными флажками, трепетавшими на сквозняке. Рут напряженно его слушала, потом отвернулась, уставившись в темноту. Америка бомбила гражданский город.

Куп стал пробираться к ним, мысль его пыталась за что-нибудь ухватиться.

— Глянь на своего друга, — сказала Рут Дорну. — Даже он виноват. Здесь нет невиновных. И я виновата. И ты. Даже ты. Мы такие же варвары. Допускаем до этого.

Дорн не ответил; рука его метнулась к горлу, и сотня ракушек рассыпалась по полу. Дети кинулись их подбирать. Куп поймал за хвост какую-то безымянную мысль. Он не знал, что сказать. Лицо Рут было мокро от слез. Вдруг грянула музыка.

Что же он хотел сказать? Что-то о ней? О том, что видел? В слезах, Рут его обняла.

— Потанцуй со мной, Куп. Пожалуйста. — Она легко прижалась к нему, помня о его синяках.

Подладились к музыке. На площадку высыпали дети, за ними взрослые; казалось, время повернуло вспять, к началу Столетней войны. В конце вечера вдребезги пьяный Дорн выхватил мандолину у верзилы-подростка и присоединился к бэнду, требуя бесконечного повторения «Огня на горе».

Поздним утром, когда все еще спали, Куп одиноко сидел за кухонным столом.

Чем была его прежняя жизнь? Все вокруг казалось знакомым только потому, что он видел это накануне. Память его сохраняла лишь недавнее. Сейчас в ней обитало нечто гладкое и бездверное — танец с женщиной по имени Рут. Вчера он смекнул, что если и танцевал в прежней жизни, танцор из него никудышный. Подумав, он произнес это вслух.

— Уж точно, — хмыкнула Рут.

— «Начало танца», — сказал он.

Она не ответила.

Сейчас Куп раздумывал над тем, как она сказала «уж точно». Словно подразумевала «это всякий знает». Кто она ему? Подруга? Никто? Сказав «уж точно», она имела в виду лишь настоящее? Но в тоне ее слышалось иное. Кто она, Рут? Имя маленькое, словно замочная скважина. Она с ним

танцевала. И плакала.

Из отдаленных впечатлений сознание сберегло всего ничего: снимок «поляроидом», сова на шоссе, женщина, сгорбившаяся над синим пламенем, танец под трепет флажков. В остальном же память была выскобленным столом, который забыл, как держал на себе чашки, тарелки, ломти хлеба и голову уставшей девушки.

~~~

Они ехали в Сан-Франциско. Клэр коснулась руки Купа:

Я хочу, чтобы ты повидался с отцом.

С отцом… Зачем?

Он тебя вырастил, Куп. А теперь состарился. Сильно. С тех пор как ты и сестра сбежали, он почти не разговаривает. Даже со мной. Он замкнулся в себе. Надо с ним встретиться.

Я его не знаю.

Он захочет повидаться с тобой. Ты должен попрощаться. Думаю, для тебя это важно.

Больше Клэр не стала объяснять, понимая, что встреча может выйти тяжелой, даже горькой. Или великодушной. Или вновь разбить отцу сердце. Но ведь столько всего пропало зазря. У нее
~~~

больше никого нет, кроме отдалившегося отца да вот еще Купа, впавшего в беспамятство. Хотелось их соединить, точно половинки географической карты. Клэр представила отца на краю кукурузного поля: тень от длинных зеленых листьев пятнает седую бороду неуклюжего одинокого старика, истосковавшегося по семье, которую он создал, а потом потерял — жену, умершую в родах, соседского сироту и Анну, кого он больше всех любил и навеки лишился. Осталась только она, Клэр, неродная кровь, лишний рот, прихваченный из больницы Санта-Розы.

В Сан-Франциско они проехали через мост Золотые Ворота и, покинув шоссе, проселком добрались до Никасио. Сославшись на усталость, Клэр попросила Купа сесть за руль. Миновали кривое дерево на скале возле запруды. Петалумская дорога, с одной стороны окаймленная гигантскими тополями, вилась меж холмов. Покусывая губу, с нарочитой беззаботностью Клэр смотрела в окно. На вершине холма Куп одной рукой небрежно крутанул руль вправо, и по узкой грунтовой дороге машина покатилась вниз. На подъезде к дому, еще лавируя меж изгородей, он выключил зажигание. Одолели врытые в землю покрышки; Клэр увидела Вояку, подошедшего

к ограде. Из-за баранки Куп разглядывал свой старый мир.

—

Мы с Рафаэлем следуем за рекой, которая, скрывшись под нагромождением валунов, через сотню-другую ярдов выскакивает в лесу. Молча идем по берегу. Наконец доходим до места, где наша река, встретившись с дорогой, накрывает ее, или, с другой точки зрения, где дорога, встретившись с рекой, ныряет в нее, словно уходит из жизни настоящей в жизнь воображаемую. Мы шли вдоль реки, поэтому дорога нам чужая. Глубина дюймов двенадцать — больше чем в весенний разлив, когда вода заливает луга и бьется о деревья, заставляя их ронять гнезда и старые ветви, что, хрустнув, выдерживают паузу, прежде чем упасть. Лес, говорит Рафаэль, всегда полон новой жизни и прощанья.

Река и дорога сливаются, точно две жизни, точно сказка, рассказанная с конца и начала. Вдали виднеются луга; мы бредем по прозрачной воде, накрывшей каменистую тропу, и с каждым шагом удаляемся от леса.

Часть вторая
Семейство в повозке

Дом

Люсьен Сегура брел через заросший луг, изобиловавший букашками, что с его приближением прыскали в воздух. Писатель держался тропки. Высокую траву, доходившую до груди, а порой скрывавшую с головой, он разгребал руками, точно пловец воду. Когда ж последний раз ее косили или сжигали? Полвека назад, а то и больше? Во времена его детства?

Минут через десять он замер, сраженный клаустрофобией и зноем. Черт его знает, сколько еще выбираться из этих зарослей. Похоже, метрах в тридцати опушка — впереди чуть покачивались прелестные деревья. Невероятно: над шершавым травяным морем пролетел павлин. Птица уселась в темной листве деревьев, и ее хвост в синем оперенье стал неотличим от ветки.

Юношеское стихотворение Сегуры о чудесной птице с холмов было его самым известным произведением, которое в школах учили наизусть и разбирали по косточкам, в результате чего от героини оставались кучка перьев да когтистая лапа. Стих стал его проклятьем. По правде, никакой редкостной птицы не было. Над полями

отчима никто не летал. Но вот извольте: одна такая птица возникла живьем.

Сегура уже раскаялся, что не надел шляпу. И рубашку надо бы потоньше. Он просто решил глянуть на владения, которые, возможно, купит. Усадьба представляла собой дом, к которому вела платановая аллея, и несколько гектаров пустошей. Продолжив поход вслепую, Сегура споткнулся обо что-то деревянное. Наверное, лавка или помпа. Присев на корточки, он раздвинул траву и увидел лодку. Густой стрекот, висевший в воздухе, только усилил его одиночество.

Три недели назад Сегура покинул свой дом под Марсейяном, который отчим завещал его матери, мать — ему, а он оставил жене и детям. В поисках нового дома престарелый Люсьен Сегура на лошадке, запряженной в повозку, бороздил департамент Жер. Дабы избежать остроты неизведанного уединения, иногда он подвозил путников самых разных возрастов и сословий — одиночек и тех, кто забирался в повозку с парой чад и собакой. В беседах с ними он не таился, ибо с незнакомцами всегда откровенничал, и в ответ слышал рассказы о их работе в лесах, о поселениях вдоль рек и садах, которые они лелеяли за батрацкую плату. Слушая, он невидимкой

входил в их мир.

Но вот однажды Люсьен Сегура выбрался из повозки, попросив семейство попутчиков покараулить его пожитки. Парадной аллеей он неспешно, точно павлин, прошел к запертому дому с окнами, забранными ставнями. Тяжелым камнем сбив замок, вошел в прихожую, залитую пыльным светом. Одна дверь вела в кухню, другая в столовую. Не заглядывая в комнаты, гулким коридором он прошагал к черному ходу и, дернув ветхую щеколду, сошел в сад, а потом в глубину высокой травы.

Сидя на корточках, старый писатель ощупал ноздреватые доски брошенной лодки. Размером с детскую кроватку, щелястое судно больше напоминало плот. На борту этого плавучего средства, за долгие годы прокаленного солнцем и источенного насекомыми, сохранилось гнездо уключины, а на корме — огрызок руля. Посудина говорила о том, что неподалеку есть водоем; Сегура запрокинул голову и вроде бы уловил запах воды. Он ринулся сквозь траву и через минуту вышел к озерцу. Скинув одежду, Сегура плюхнулся в блаженную прохладу, угомонившую зуд царапин и укусов.

Всю жизнь его считали отшельником. Однаж-

ды приятель охарактеризовал его «бирюком»; сей грубоватый и нелестный образ, разошедшийся в его окружении, был настолько же неверен, насколько полезен, ибо снабдил его границей личного пространства. Но верно то, что вопреки семейной стадности, главной была его воображаемая жизнь. Когда супружество его почило, в своих недрах он отыскал гризетку Клодиль, о беспутной жизни которой сочинил три книги. Вымышленная девушка стала его спутницей. Если считать это вывихом или извращением, то сей вывих помог ему пережить трудное время, и он бы ни за что не отрекся ни от него, ни от своей компаньонки. Этому персонажу, обитавшему в городе Ош, он хранил верность и вместе с читателями следил за его вымышленной судьбой. Многие полюбили Клодиль и слали ему письма, будто он знал ее в реальной жизни.

Дорогой мсье…

Давеча я вспомнила об ужине, на котором Клодиль Ротер и ее сестра говорили о том, что обожают фиговый джем.

Я приберегла для вас горшочек сего джема, который сварила моя приятельница, обитающая в окрестностях Каора. Надеюсь, сударь, вам понравится.

С глубочайшим почтением, Сара С.

Посылка пришла незадолго до того, как Люсьен покинул Марсейян, и теперь в поездке он, вновь осторожно открыв конверт, перечитывал официально-ласковое письмо, словно любовное послание. Столь же торжественно он распечатывал горшочек и угощал джемом попутчиков, коих в последние дни было трое: мужчина, представившийся «старым вором», его молодая жена и их сын. Люсьен к ним уже привык. Цели их путешествий были схожи — семейство тоже искало себе новый дом. *«La confiture de figue!* — провозглашал Люсьен. — *Faite par une dame à Cahors».*[68] Сначала мальчишка притворно отводил взгляд, словно воспитанная собака, а потом уже не спускал его с ножа, намазывающего джем на хлеб, тем же собачьим взглядом провожал куски, исчезавшие в чужих ртах, и синхронно сглатывал, внушая себе, будто перед своей порцией угостился тремя

---

[68] Примечания: 68
Фиговый джем! Сварен дамой из Каора *(фр).*

лишними.

Рано утром, когда все еще спали, вор исчезал и позже возвращался с добычей: ягодами, свежей зеленью, а иногда и зайцем, реквизированными, как он выражался, с окрестных полей. Путешественников будил дымный запах костерка, который он разводил на обочине дороги, готовя завтрак. Заросший седой щетиной, он казался неповоротливым увальнем, однако умел мгновенно исчезнуть, дабы обеспечить спутников обедом на свежем воздухе. И потому Люсьен взял на себя ответственность за полдники, состоявшие из питья и джема, а также ужины в придорожных харчевнях, которые он оплачивал.

Всякий раз, как Люсьен чуял подходящий дом, повозка останавливалась. Он расспрашивал почтальонов и плотников, не продается ли где заброшенное подворье. Тем временем молодая жена вора, усадив за спину сына, на сменной лошадке разъезжала по проселкам, высматривая жилье для своего семейства. Спутники Люсьена были цыгане, *gitans*, которые ушли из табора и в поисках нового дома отправились на север. В любой момент они могли обосноваться на каком-нибудь безымянном лугу, и Люсьен знал, что будет по ним скучать. Ему нравилось общество

мужа и пение по утрам его жены.

Вас назвали Арией из-за любви к пению, спросил он, или же ваше имя одарило вас талантом?

— Поди знай, — ответил ее муж. — У цыган много разных имен. Подлинное имя держится в тайне, его знает только мать; так нужно, чтобы сбить с толку злые духи, не подпустить их к душе ребенка. Обычно рома пользуются вторым именем. Ее второе имя — Ария.

А вас как зовут? — осведомился Люсьен.

Я не рома. Вот прилип к ней и живу в ее мире. Я — так, сбоку припека.

Порой Люсьену казалось, что семейство ему пригрезилось, особенно когда его члены непредсказуемо исчезали: мужчина — по утрам, женщина с мальчиком — днем. Бывало, он правит лошадью и о чем-то рассказывает, но затем понимает, что беседует сам с собою, ибо попутчики уже спрыгнули, точно с лодки, и подгребают к дальним тополям.

Постоянного имени у меня нет, сказал муж, когда Люсьен повторил свой вопрос. Я знаю цыганский язык настолько, чтоб выжить, но… Говорил он вяло и неубедительно. Казалось, он ни в чем не уверен и хочет выглядеть робким воробушком. А вот мальчика, которого звали Ра-

фаэль, интересовало все на свете, и он буквально засыпал писателя вопросами. Люсьен опасался, что это вызовет ревность отца, но тот имел вид счастливейшего человека, когда прислушивался к их беседам, притворяясь, что они ему ничуть не интересны.

С самого начала мужчины воспринимали друг друга как собственное отражение. Два-три раза на дню кто-нибудь из них ловил на себе взгляд другого. Даже Ария признавала, что они схожи. Их будто скроили по одному лекалу, и писатель, вопреки его предполагаемой славе, держался так же нерешительно и настороженно, как этот самый застенчивый из воров. Если он и впрямь был вором. На глазах Люсьена он ни разу не совершил ничего криминального. И хотя писатель был гораздо старше, именно муж Арии казался человеком не от мира сего: неумейка, сбивчивый в речах и запамятовавший прошлое. Как-то раз Люсьен заметил, что книга, которую читал вор, заложена веточкой полыни. Единственная определенная деталь в этом человеке. С тех пор каждые два-три дня писатель дотошно отмечал, насколько продвинулась веточка, совершавшая путешествие по сюжету.

— Я ушел на войну да так и не вернулся, —

однажды сказал вор, когда они с Люсьеном вышагивали через поле; это стало его самым большим откровением в ответ на воспоминания писателя о давней войне.

Еще в день их знакомства Люсьен спросил Арию, как зовут ее мужа.

Лучше спросите у него, ответила она.

Это было начало их неуловимости.

Нельзя же называть вас только «вором», сказал Люсьен. Конечно, в подходящий момент я не премину воспользоваться сим титулом, но желательно ваше имя.

Выбирайте любое: Огюст, Пелок, Льебар…

Что ж, пусть будет Льебар.

Про себя Люсьен оценил юмор — ему нравилась повесть Флобера «Простое сердце». Первое время он пользовался этим прозвищем — одним из многих, которые потом забыл. Но вот что запомнилось: Льебар почти ничего не ел, даже если сам готовил. На вопрос Люсьена Ария лишь пожала плечами, словно говоря: кто их разберет, этих мужчин.

Каждый вечер они подъезжали к какой-нибудь гостинице, где писатель всех кормил ужином; потом он брал себе номер, а семейство ночевало в поле. Усталость и деревенский воздух способство-

вали сладкому сну. Но однажды ночью Люсьен Сегура проснулся охваченный паникой. Задыхаясь, он сбросил одеяло. Расстегнул воротник ночной сорочки и подошел к окну. В темноте Льебар брел вдоль оградки гостиничного сада. Довольно яркая луна позволила писателю узнать своего попутчика, совершавшего странную ночную прогулку. Люсьен хлопнул в ладоши; остановившись, Льебар поднял голову и медленно поклонился. Накинув пальто, Люсьен вышел на улицу. Полилась тихая беседа. Писатель пожаловался на бессонницу.

Значит, вам не надо спать, ответил вор. В ночи столько полезных часов. Жалко тратить их на сон.

Мне нужна ваша помощь, дружище.

Льебар замер. Писатель ждал отклика на свое драматическое заявление, но ответом было лишь учтивое молчание. Помявшись, он продолжил:

Вы должны кое-кого убить. Вновь молчание.

Моя жена превратилась в ведьму. Она погубит наших детей. До конца дней не даст мне покоя.

В другой жизни у меня тоже была жена. (Льебар говорил осторожно, словно эти сведения могли быть использованы против него.) Есть другие способы прекратить муку. Согласен, мужья и же-

ны друг друга терзают, но ваши дети сами о себе позаботятся. Убить несложно. Труднее украсть и вкусно приготовить хорошую курицу. Убийство не требует искусства, это неравный бой. Но оно вас же и погубит. Вы маленько подрастеряли мозги. Наверное, из-за этого у вас удушье. Знаете, есть такое растение огуречник, у которого цветок точно синяя звездочка; очень полезно для сердца. Вы успокоитесь. Давайте поищем…

Люсьен давно не вспоминал о своей несносной брошенной жене. Удивительно, что она вдруг возникла в его мыслях в образе врага. Ему уже было неловко, что он заговорил о ней с человеком, которого почти не знал. Наверное, еще не проснулся.

Извините меня, пробормотал Люсьен.

Ничего, я польщен тем, что вы мне доверились, донесся тихий голос. Люсьен не то чтобы рассмеялся, но усмехнулся в темноту.

Маленький Рафаэль запомнил, что наутро после того, как закончился фиговый джем, в деревеньке Демю для писателя нашелся дом. Люсьен, мальчик и его мать почивали на задке повозки, когда ее убаюкивающий ритм нарушился, и она вдруг остановилась, будто на краю пропасти. Отец мальчика, правивший лошадью, молча смотрел

налево. Его вниманием завладела неухоженная аллея: траву давно не косили, ветви платанов переплелись в борцовском захвате. Привстав, писатель проследил за взглядом Льебара.

— Что ж, возможно, — сказал он. — Вполне. Подождите тут, ладно?

Первоначальный обзор претендентов Люсьен всегда делал в одиночку. Семейство и писатель не могли помочь друг другу в выборе пристанища; скажем, Люсьен не ведал, что в целях безопасности луг должен иметь несколько путей отхода. Выбрать дом на остаток своих дней — сродни задаче, стоявшей перед сказочным принцем или принцессой: засветло определиться с суженым. Нужно честно сказать себе, чего ты хочешь, дабы принять мудрое и личное решение, невзирая на первое отталкивающее впечатление, если вместо владелицы замка видишь слепую девушку или ежика вместо кавалера голубых кровей. Сторонние советы тут бесполезны. И потому семейство осталось в повозке, а писатель, размяв с дремы затекшие ноги, осторожно и вместе с тем по-юношески легко зашагал к кандидату на свое последнее жилье.

Астольф

Через два дня после покупки дома с девятью гектарами угодий Люсьен и Льебар, вооруженные косами, ступили в глубину травяных зарослей. И тотчас потеряли друг друга из виду. Лишь в короткие передышки один из них слышал неумолчное вжиканье чужой косы либо стук оселка о лезвие. Косьбу начали до свету, по утренней прохладе, но в воздухе уже кружила мошкара. Косы скользили над землей, обходя камни и корни. Конечно, было бы проще траву сжечь, но Льебар, помогавший окультурить заросшее поле, сказал, что огонь уничтожит муравьев и сверчков. Незримая жизнь лугу необходима. Иначе писатель затоскует по стрекоту сверчков и цикад.

Скошенную траву и неподатливые кусты голубики, выдернутые из земли, сжигали на краю поля. В прочесанную граблями стерню кинули семена горчицы и клевера, дабы оздоровить почву. Когда стемнело, в чужих владениях набрали семена бобовых, которые раскидали на писательской земле. А что такого? — хмыкнул Льебар, который и сам путешествовал, точно пчела или семечко, переносимое ветром.

Он разбирался в жилье крылатых существ, а потому рекомендовал не только скворечники, но также просверленные доски, где селились бы летающие насекомые. К веткам деревьев он подвязал расщепленные стебли подсолнухов, чем обустроил жилье для жуков. Набитые соломой горшки стали квартирами сороконожек, которым надлежало поедать личинки вредителей, атакующих плодовые деревья. Льебар был сведущ в неловком нравственном балансе природы. Что-то даешь и что-то забираешь. Осы откладывают потомство, которое питается личинками бабочек, но для растительной жизни осы полезнее прекрасных летунов. Так и в людской жизни, которую давно и презрительно наблюдал Льебар: часто за ленивой красотой скрыта подлость. Себя он никогда не числил моралистом. Хватило б и пушинки, чтоб сбить его с пути истинного.

На второй день вдали от писательского дома Рафаэль отыскал луг с множеством выходов. Если угодно, можете там обосноваться, и вообще, луг ваш, сказал Люсьен. Предложение не содержало намека на товарищество. Может, когда и перекинутся словцом, но в своих прогулках по угодьям писатель вряд ли зайдет дальше озерца, а вышеозначенный луг был за его пределами.

Условие было таким: если Льебар поможет выкосить заросшие пространства перед домом и лужайки под раскидистыми каштанами, он и его семейство могут пребывать на земле писателя сколько их душе угодно. Люсьен был готов подписать официальную бумагу, но Льебар лишь отмахнулся. Он не одобрял писанину и многословные разговоры, от которых в прошлом имел одни неприятности. Сноской к договоренности стало его заявление: он отрекается от имени Льебар и отныне прозывается Астольф.

Через час мальчик, привыкший к подобным переменам, уже называл отца Астольфом. Люсьен догадался, что вор пользовался именами как паролем с недолгим сроком жизни. Однако сейчас тот сожалел, что не обрел это имя раньше, и весь день вспоминал сцены из прошлого, представляя, как легко и изящно он бы действовал в доспехах «Астольфа». Он уподобился мужчине, который вглядывается в давние фотографии жены или возлюбленный, где той лет двадцать или меньше, и сожалеет, что не знал ее *тогда,* чтобы осторожно расстегнуть пуговки на ее ныне старомодном платье, попробовать плод с цветущего дерева за ее спиной… Вору нравилось звучание нового имени, его воздушность и намек на эхо. С

таким именем он, грузный мужик, смог бы превратиться в невесомую птичку или утонченную грамматическую форму.

Писатель наблюдал за вором с книгой, пахнущей полынью. Имя «Астольф» встречалось в романе шестнадцатого века «Неистовый Роланд».[69] Но откуда же оно ему известно? Когда-нибудь украл этот роман? Разве воры крадут книги? Ведь в карман их не спрячешь.

---

[69] Примечания: 69

«Неистовый Роланд» или *«Неистовый Орландо»* (Orlando Furioso) — рыцарская поэма итальянского писателя Лодовико Ариосто, оказавшая значительное влияние на развитие европейской литературы Нового времени. Самая ранняя версия (40 песен) появилась в 1516 г., 2-е издание (1521) отличается более тщательной стилистической отделкой; полностью поэма была опубликована в 1532 г. «Неистовый Роланд» — продолжение поэмы «Влюбленный Роланд» (Orlando Innamorato), написанной Маттео Боярдо и опубликованной в 1495 г. Полный текст «Неистового Роланда» насчитывает 38 736 строк, это одна из длиннейших поэм в европейской литературе.

Поездка

Пока мужчины работали на лугах, Ария с сыном отправились на юг, чтобы с прежнего места обитания забрать свой фургон. За дни пути верхом на лошадке они пересекли веер рек — Ардур, Баиза, Жимон, миновали плодородные пашни. К вечеру четвертого дня добрались на окраину Сен-Мартори, где стоял их табор. Были костер и музыка, долгие разговоры и сон на привычных узких лежанках. Наутро с небольшой делянки мать с сыном набрали растений, какие переживут обратную дорогу, и прикинули, что из пожитков можно оставить.

Вскоре они двинулись на север, но уже иным маршрутом, ибо качкий фургон требовал дорог шире. Теперь уже было нельзя открыть калитку и срезать дорогу через чужие владения или переправиться вброд — тяжелый фургон завяз бы в песчаном дне. В Плезансе путники собирались распрощаться с рекой Аррос и свернуть на запад.

Ехали неспешно, делая остановки, когда захочется. Рафаэль разводил костер, Ария выискивала на полях съестное. Пара луковиц, розмарин, черемша — вот и весь обед, словно для птичек,

что порхали над лугами. Так, на один зубок. Покончив с едой, они находили укромный уголок, скидывали одежду и купались в ручье или реке. Дабы сын не унаследовал отцовского страха перед водой, Ария с разбегу бросалась в реку и, вынырнув, насмешливо ухмылялась — ну что, бояка? Мальчик подплывал и, ухватившись за нее, целовал ее в плечо. В этих объятьях была та же чувственность, что и в крепких объятьях с отцом. На берегу своей рубашкой он вытирал ее длинные темные волосы.

Иногда по ночам с океана приходили сильные грозы; проливной дождь застиг их возле Сегала и Бузона, а под Сен-Жюстеном молния озарила реку, словно тропу сквозь историю, и Ария удержала сына, готового прыгнуть в ее мгновенную красоту. Наступил сезон гроз. Ария представила, как в Демю старый писатель безуспешно уговаривает ее мужа ночевать в пустующем доме.

Остановившись посреди открытого поля, путники выпрягали лошадей, которые жались к фургону — мол, им совсем не страшно, но лучше уж так, чем скакать в темноте. В ясные вечера Ария и Рафаэль устраивались в ковыле под сотней звездных слоев. Неисчислимое множество. Миллион оркестров. Непостижимая разумом

бездна. Сердце мальчика разрывалось от счастья. Вот тогда-то он четко ощутил себя частицей всего, что было вокруг, — казалось, и вздох листвы, и пение матери исходят из него, а всякое его движение исполнено внешним миром.

Неподалеку от Плезанса произошло солнечное затмение. В полдень быстро сгустилась тьма. Рафаэль, из ведра поивший лошадь, заметил, что вдруг похолодало. Обернувшись, он встретил тревожный взгляд матери. Хлынул серый дождь, поднялся немыслимый ветер, пригибавший деревья к земле. Лошадь, дико косившая глазом, казалась деталью этой невероятной картины. Рафаэль не знал, что такое затмение. Наверное, божья кара, решил он, наступает конец света. Вцепившись в гриву, Рафаэль взглядом искал веревку, чтобы привязать лошадь. Убежит — не найдешь. Животное волчком завертелось, и он вскочил ему на спину. «Не смей!» — завопила мать, но в тот же миг сквозь деревья лошадь рванула во мрак, унося мальчика.

Приникнув к лошадиной шее, Рафаэль будто стал глазами животного, метавшегося из стороны в сторону. Он влип в мокрую спину неоседланной лошади, спотыкавшейся и закладывавшей виражи, пока не выскочила на широкое поле, небо над

которым было чуть светлее, чем в лесу, и тогда припустила во весь опор. Мальчик слышал свое дыхание и храп лошади, глухой топот ее копыт в густой траве, а затем их внезапный перестук на деревянном мосту. Он держался за горячую звериную кровь. Может, в минуту — время утратило счет — они проскочили через погруженную во тьму деревню, где, кроме них, ничто не шевелилось, и вылетели к речным лугам. Потом свет потихоньку вернулся, воздух вновь полыхнул жаром, заблестела мокрая трава. Время вдребезги разбилось. Средь бела дня в небе сияла яркая луна. Лошадь успокоилась и почуяла на своих боках ноги невесомого седока, который в ином, безмятежном времени поил ее из ведра.

Рафаэль медленно ехал через поля. Все вокруг было внове. Он выглядывал деревеньку, через которую давеча проскочил, но ее не было. После деревянного моста на горизонте возник черный лес, у кромки которого металась фигурка матери. Рафаэль даже не понукнул лошадь. Наконец он спешился, съехав по скользкому лошадиному боку. Ноги его не держали, но он устоял, когда Ария его тряхнула и обняла.

Две фотографии

К кухонной стене пришпилены две фотографии. На одной Люсьен Сегура в последнюю пору его жизни: сидит на садовой скамье под склонившейся темной веткой. От снимка веет официальностью и вместе с тем неким разгильдяйством. Последнее исходит от писательского облика: мятая рубашка, косматые усы, будто одолженные у какого-то зверя; но самая непринужденная деталь — лицо человека, которого только что осчастливили. Он ухмыляется, даже не пытаясь скрыть неприглядную кудлатость и отсутствие зуба. В нем угадываешь того, кто привык к сдержанности и смеется про себя.

В правой части снимка какое-то размытое непонятное пятно, напоминающее кляксу на безупречном холсте. Может, летучая мышь сослепу пролетела между объективом и литератором? Нет, это единственное фотографическое изображение писательского друга Льебара-Астольфа, который сердито обернулся на щелчок затвора, причем так резко, что вышел смазанным.

Вторая фотография была сделана в тех же местах, но гораздо позже сыном нечеткого сердитого

пятна — Рафаэлем. На ней женщина, которую он встретил в писательском доме. Размер обоих снимков одинаковый, так что они в некотором смысле пара.

На втором фото объект снят крупнее. Вместе с веком фотография ушла от среднего плана, пренебрегая перспективой и фоном из лесов и горных гряд.

По пояс голая женщина движется на камеру и вот-вот выпадет из фокуса. Крепкое загорелое тело, в светлые волосы воткнуты веточки коровяка и розмарина — кажется, будто они растут из ее головы. Смеющийся рот, худые плечи и руки в грязных потеках. Энергию и чувственность она словно черпает из воздуха. Глядя на снимок, представляешь и человека с камерой, который в том же темпе пятится, чтобы удержать объект в фокусе. Об отношениях между невидимым фотографом и смеющейся перепачканной женщиной можно догадаться по ее радостному шутливому жесту, который она делает рукой в прилипших травинках. Эта женщина — просто Анна.

Часть третья
Дом в Демю

Архив Люсьена Сегуры;
Библиотека им. Банкрофта,[70]
Беркли, Калифорния. Пленка № 3.

Последние две недели большие часы над зеркалами бара «Лё Дароль» показывали двадцать минут двенадцатого. Часовщик все не приходил, ибо починял время где-то в пиренейских деревушках. Когда закончит, он появится со своими промасленными лоскутами и тонюсенькими отвертками. Снимет часы со стены, под остерегающие ойканья слезет со стремянки и устроит тяжелый механизм на мраморной барной стойке, нарочно заняв почти все ее пространство. Далее все пойдет по ритуалу. Часовщик потребует крепкий эспрессо и будет держаться с хмурой властностью, словно его призвали излечить начавшуюся слепоту дочери мэра. Обмакнет тряпицу в масляный соус и пинцетом погрузит ее в незримые глубины исполинских часов…

---

[70] Примечания: 70
Джордж Банкрофт (1800–1891) — американский историк и дипломат.

Удивительное племя, эти часовщики: одни угрюмы и бесчувственны ко всему, кроме механизма, в который собираются вдохнуть жизнь, другие неуверенны в своем даре, точно поэты. Поскольку мой отчим — второй муж матери — был часовщиком, я хорошо изучил их природу. Он, мой первый часовщик, не считал свой талант чем-то особенным. Всего-то нужно освоить несколько приемов; время от времени итальянцы и бельгийцы выдумывали нечто, что меняло местами причину и следствие, но в целом отчим полагал, что его работа ничем не отличается от труда огородника. От него я научился быть осмотрительным и безоглядным в своей работе. Получаешь ремесло, не талант. Служение ему не требует натуги или мрачности. Но других таких часовщиков я не встречал. Наблюдая за отчимом, я узнал достаточно, чтобы самому отладить ход часов, но всякий раз забарахливший хронометр несу тулузским мастерам, дабы посмотреть, как они священнодействуют.

Я люблю наблюдать за ремеслом, пусть скромным и неблагородным, но избегаю разговоров о нем, поскольку это все равно что спрашивать могильщика, какой тип лопаты он предпочитает или когда ему лучше работается — днем или

при луне. Мне интересен лишь сам процесс и его невидимая подоплека. Даже если я не вполне понимаю, что происходит. В детстве для меня было удовольствием проехать по берегу Гаронны, где стояли четыре паровых двигателя, качавших воду в Тулузу. В окрестной тиши, где был слышен даже одиночный кряк утки, вдруг раздавался рев моторов, похожих на громадных обезьян, что плевались и пихались у водной кромки. Я был зачарован. Машины были словно взрослые мужики, занятые сложным шумным делом. Казалось, они могут напустить мрак.

По меньшей мере раз в год часы в «Лё Дароль» сваливала усталость, и тогда владелец бара посылал мне весточку о визите часовщика, дабы я приехал в Ош, остановился в «Отель де Франс» и наблюдал за процедурой ремонта. Когда величавый предмет укладывали на мраморную стойку, на его циферблате читалась надпись мелкими буквами: «Ламаргер». Часовщик смахивал с него мучнистый налет и вынимал механизм из корпуса. Дабы мастер, излучавший папскую властность, позволил мне встать поближе, я изображал робость; узнав, что я литератор, или, во всяком случае, таковым считаюсь, он выделил меня среди других зрителей, словно мы с

ним были на ином профессиональном уровне. Когда же выяснилось, что я поэт, мой статус на пару ступеней снизился, а часовщик пробурчал какую-то строчку, которую я не расслышал, но которая вызвала смешок зеваки слева, одобренный мастером.

Писательское ремесло не зрелищно. Всего-то коротенькая связь между глазами и пером. Умение предчувствовать и грезить незримо, а вот стоит часовщику снять темную куртку и закатать рукава белой рубашки, как я покидаю общество Клодиль за круглым столиком возле окна и приближаюсь к развернутому клеенчатому несессеру с узкими отделениями для отверток, масленок и фонарика, коим высвечивают склеп часового механизма. Вскоре я уже купаюсь в наслаждении серьезностью мастера. Воображаю, каким царьком, которого впору носить в паланкине, он шествует по деревушкам Верхних Пиренеев и городкам вроде Ларюна, Гаварни и Ожё. Все это мне нравится. Но верю я в непритязательность моего отчима, который, заслышав песнь дрозда, мог прервать ремонт и подойти к окну, чтобы увидеть птицу. Или дать мне свой рабочий ножик, чтоб я очинил тупой карандаш. Из отслуживших свой срок колесиков и пружинок он мастерил чудных

зверушек, которые ползали по обеденному столу. Хоть не отец, он вырастил меня. Думаю, свой нрав я перенял от него. Еще я научился тому, что благопристойность без вычурного драматизма — вполне пригодный облик любого мастерства и таланта. Однако при всей своей скромности он преклонялся перед величием Виктора Гюго и его неспешными покорными фразами, что шагали к революции.

Он любил мою мать. Однажды, уже при смерти, он запустил свои пропахшие маслом пальцы в ее аккуратную прическу и взъерошил ей волосы, словно бархат или мех редкого зверя. Я навсегда запомнил этот жест. Наверное, это была моя последняя радость, связанная с ним. Для меня этот жест — квинтэссенция любви и семьи (в искусстве коих сам я не преуспел). Не важно, что мы с ним стеснялись проявлять свои чувства и даже редко обнимались. В его доме мне было тепло и уютно. В нем царил покой, двое часов шли тихо, но точно, сберегая нас во времени. Всем этим он одарил нас всего на пять лет.

Марсейян

Мать Люсьена, Одиль Сегура, родилась в местечке Баньер-де-Бигор близ Пиренеев, где испанское влияние захомутало округу километров в пятьдесят. Мигель Инвьерно, через испанскую границу перебравшийся в городок, работал кровельщиком. Какое-то время он волочился за Одиль, а потом, не сказав ни слова, с троицей соплеменников пропал. В поселке Вик-Фезансак, что к северу от Баньер-де-Бигора, каждый июнь проходила коррида, и всякий год Одиль с сыном на руках туда отправлялась, надеясь в толпе отыскать возлюбленного и отца своего ребенка, однако ни разу его не встретила. Потом она вышла за часовщика и переехала в его дом на окраине Марсейяна.

Люсьену было четыре года, когда он впервые перешагнул порог жилища отчима. Там, в садах, где за деревьями искрилась река, где на солнышке спал пес садовника, он научился различать голос каждого луга. Вскоре он узнал, в какой части неба отыскивать звезды, по времени года менявшие постой, и на каком дереве прячется пересмешник. На каждый день рожденья мать готовила *salade de gésiers:* на листья салата

укладывались маленькие яйца, гусиное горло, картофель, лук-скорода и крупчатая горчица, которую с тех пор Люсьен нигде не встречал. В последнюю неделю мая Одиль устраивала в доме генеральную уборку, пропалывала огород, стирала и гладила мужнины рубашки, а затем, усадив сына в повозку, отправлялась в Вик-Фезансак, где на улочках неустанно высматривала Мигеля, и возвращалась ни с чем, полная разочарования, смешанного с облегчением. Часовщик так и не изведал той близости, что существовала между ней и сыном. Поди знай, вернулась бы она домой, если б на корриде встретила своего испанца.

После неожиданной смерти часовщика остались кое-какие сбережения, но вдова с сыном стали жить скуднее. Ничто так не охраняло мальчика, как забота отчима. Теперь Люсьен стал более осторожным и скрытным. Одноклассники и все другие слышали от него лишь словесные трафареты. Долгие беседы он вел только с собой. Взрослея, он находил собственные слова, словно в открытом поле веточку за веточкой собирал вязанку. В двух-трех фразах он рассказывал себе о заржавевшей калитке, о животном, боязливо забиравшемся в лодку, и эти сцены запечатлевались в нем навсегда. Теперь он защищался

словами, их малой предвзятой ясностью.

Приезд

Однажды они молча ужинали, когда вдруг вечернюю тишину нарушило громыханье повозки. Дом их стоял неподалеку от тракта, и стук колес означал гостей. Прервав трапезу, мать с сыном выглянули из дверей, но тяжелогруженая повозка, которую тащила пара лошадей, проехала дальше, на холм. Протарахтев еще сотню метров, она остановилась подле однокомнатного, давно пустовавшего домишки. Люсьен и матушка топтались в дверях — вроде как надо поздороваться. Мужчина и женщина, на фоне вечернего неба читавшиеся силуэтами, соскочили на землю, разминая затекшие ноги. Долгие годы дом был безмолвной помехой на горизонте. Мысль, что теперь он обитаем, взволновала шестнадцатилетнего паренька. Придется быть еще осторожнее, чтобы любопытством не выдать собственных секретов.

Люсьен с матерью выждали полчаса и в сгущавшихся сумерках отправились к домику, прихватив с собой хлеб, молоко, немного мяса и свечи. Приезжие все еще разгружали повозку. На обочину были свалены захудалая разборная

кровать, два стула, крашеный стол, железная печка с коленчатой трубой и одежная корзина. Посреди сей немудрящей обстановки возвышались мужчина и его спутница, сейчас казавшаяся совсем девчонкой. Заслышав шаги, приезжие обернулись, и девушка схватила мужчину за руку, но было непонятно, чем продиктован этот жест. Рядом с грузным спутником она выглядела заморышем. Со своего крыльца Люсьен видел, как мужчина величаво обошел крохотный домишко, словно тот был городом за крепостной стеной, ожидавшим решения нового властителя: возродить его или преподать ему урок. Мальчику, начитавшемуся греческих поэм, незнакомцы казались авангардом чужеземной армии или парламентерами.

Если б не мать, наверное, никто не проронил бы ни слова, но теперь стали известны имена приезжих: Роман и Мари-Ньеж. Они вслепую арендовали дом у владельца, проживавшего в Марсейяне. Роман принял гостинец, но от помощи в переноске мебели отказался, хотя уже стемнело. Мол, сам справится. Не дав завязаться разговору, он потащил кроватные спинки в дом. Девушка молчала. Когда ее представили, губы ее чуть шевельнулись, но и только. Она была чрез-

вычайно худа, ее коротко обрезанные темные волосы оставляли шею открытой. Казалось, она исчезнет, если б Роману вздумалось завернуть ее в свою рубашку. Шагая с холма, Люсьен напоследок оглянулся. Мужская тень шныряла в халупу и обратно, поминутно застя лампу, зажженную на повозке. Дома Люсьен присел к столу и задумался над тем, что произошло. Казалось, вся его жизнь переменилась.

Как выяснилось, пара недавно поженилась. Хотя девушка была чуть старше Люсьена. Первые две недели она вела себя точно дикий зверек и на люди почти не показывалась. Одиль изо всех сил старалась подружиться с новоселами, особенно с девчушкой. Видимо, что-то разглядела в том юном ошеломленном лице. В конце концов она подманила ее под свое надежное крыло.

Впервые Мари-Ньеж вошла в ее жилище опасливо, словно еще не выучила устав поведения в столь громадной обители. Наверное, дом показался ей чертогом. Люсьен сам вдруг увидел, как высоки их потолки и просторны комнаты. Роман заходил к ним редко, он весь день проводил в работе, и Одиль спешила на холм, чтобы позвать к себе девушку, ошарашенную своей новой ролью. Однажды Люсьен услышал, как мать

кому-то сказала: у бедняжки нет иных занятий, кроме как прибирать в хибаре и ублажать мужа. Позже он вспомнит эти слова, раздумывая над отношениями пары. Слово «новобрачная» совсем не подходило хрупкой девочке. Они с Люсьеном почти ровесники, но он — мальчишка, а она — замужняя женщина, официально переведенная в разряд взрослых. Она познала их мир, словно где-то на чужбине заслужила подобную честь.

«Тощая, как фасолина» — так заглазно охарактеризовал ее Люсьен подругам матери. Удачное сравнение вызвало взрыв хохота, и отныне Фасолина стало ее прозвищем. Ляпнув ради красного словца, Люсьен чувствовал, что совершил предательство.

— Ничего, скоро местами округлится, — сказала мать.

Вновь грянул смех.

Большой мир

Два семейства потихоньку уживались. Одиль стала учить Мари-Ньеж грамоте. По воскресеньям Люсьен помогал Роману выкапывать репу или починять межевую изгородь. Для шестнадцатилетнего паренька взрослый мужик являл собой неведомую силу, грозный призрак отца, которого больше не было. Они почти не разговаривали, а в будни не виделись вообще, ибо на заработки Роман уезжал в Марсейян, а то и дальше. В то время юноша зачитывался «Черным тюльпаном» Дюма и однажды вслух прочел для Мари-Ньеж, молча сидевшей рядом: «Когда Корнелиуса вели в тюрьму Бюйтенгоф, в ушах его звучал собачий лай, а перед глазами стояло лицо девушки…» Фасолина слушала, раскрыв рот. То ли решила, что Люсьен на ходу сочиняет, то ли отрывок ее заворожил. Люсьен прочел дальше. Мари-Ньеж была на год старше, но сейчас казалась святой простотой.

Отныне девушка желала быть в курсе всех событий романа. Утром она помогала Одиль в домашних хлопотах, затем учила буквы алфавита; днем, сидя с Люсьеном на крыльце или в тени карликовой яблони возле реки, упивалась зельем

книги. Оба выросли вдали от козней больших городов, и теперь Дюма был их проводником через сонм опасностей, когда изумрудное ожерелье на чьей-нибудь шее выдавало семейную династию. Вместе с конным они доставляли важные бумаги, пробираясь через затопленные равнины, и участвовали в тайных ночных встречах врагов и влюбленных. Книги были переполнены нестерпимой любовью. «Издав жалобный стон, Роза скрылась, безуспешно пытаясь угомонить беснующееся сердце. Корнелиус остался один; все валилось из рук, его преследовал душистый запах ее волос, который льнул к нему, точно узник к тюремной решетке». Умостившись на узком крыльце, Люсьен и Мари-Ньеж едва дышали, чувствуя, что возврат к обычной жизни невозможен.

Люсьен читал словно в трансе, излучая такую умудренность, будто сам участвовал в далеких битвах и бывал сражен страстью. Он будто открывал слушательнице большой мир, чувствуя, что лично представляет ее двору или лунной ночью бок о бок с ней скачет по городам и весям. Теперь оба знали, что почтовым голубем можно послать в Гаагу весть, которая все изменит, хотя чаще всего большие расстояния приходилось

одолевать верхом на коне. Если Люсьен запинался, ошеломленный женским коварством или сценой зверского избиения, Мари-Ньеж нарушала молчание, вслух размышляя над тем, что ему казалось изъяном в искусно сплетенной канве романа, а потом они обсуждали, как следовало бы поступить тому или иному персонажу, мужчине или женщине, мужу и жене. Например, говорили о строчке «То, чего она хотела от этого человека, было свыше его сил, и ей надлежало принять его слабость». Если Люсьен чего-то не вполне понимал или какой-нибудь эпизод казался ему просто скучным, Мари-Ньеж допытывалась, в чем там дело. Он отметил ее пронырливый ум и особое пристрастие к обаятельным мушкетерам.

Вот так каждый из них узнал, что другого интересовало, а что оставляло равнодушным. Мари-Ньеж заметила, что ее чтец скороговоркой проскакивает абзацы о детстве персонажей, ибо герои моложе двадцати были ему слишком знакомы. Он уже знал, чем полна юность. Его влекло к замысловатой жизни взрослых, путешествиям, военным и супружеским баталиям. Едва он это выпалил, как опешил от возникшей между ними стены. На миг тонкой смуглой рукой Мари-Ньеж коснулась его щеки.

Когда-нибудь ты женишься, сказала она. Вот тогда поговорим.

Нет, ответил он. Не поговорим. Определенно, нет. Люсьен вернулся в официальные рамки, но оба были подобны горючим спичкам, что рядышком лежат в коробке.

Все это происходило в первый год их знакомства. К вечеру возвращался Роман, и Мари-Ньеж отбывала в свою реальную жизнь. А Люсьен… Он гонял по лугам, ходил колесом, из рогатки пулял по деревцам и стрелой нырял в реку. Пронизав воду, открывал глаза, уверенный, что в темноте отыщет серебряный клад, старую шпагу или ветку, которая попытается его опутать и утопить. Распрощавшись с девушкой, он почему-то превращался в мальчишку.

Сквозь узкое оконце Мари-Ньеж видела, как он забирается на дерево. Порой на задах дома, в корыте намыливая мужа, она слышала далекий всплеск в реке. Иногда еще с порога Роман ее желал — о голоде его свидетельствовала припухшая ширинка; не озаботясь сделать пару шагов к кровати, он опрокидывал ее на кухонный стол и вламывался меж ее ног, что свешивались со столешницы, чуть касаясь пола; лишь слегка распаленная, она держалась за ее края, глядя на

незажженную лампу, качавшуюся за его плечом, и чувствуя жесткость досок, по которым взад-вперед елозила ее спина, обтянутая тонким, спереди расстегнутым платьем. Наверное, Люсьен не успевал донырнуть до дна, как соитие и взаимное удовлетворение заканчивались. Мари-Ньеж хваталась за вытянутую руку мужа, и он сдергивал ее со стола. Глаза этого взрослого крепкого мужика, в котором не было ничего от мальчишки, пылали горечью и злостью на незадавшуюся жизнь. Как-то раз он запустил стулом в занавеску, разделявшую единственную комнату, и Мари-Ньеж знала, что ее он может так же легко шваркнуть в темный угол. Иногда в мушкетере Портосе она угадывала мужнины черты, а в муже — черты Портоса, что помогало хранить верность всему, во что он верил.

Мари-Ньеж отрастила волосы. Она чувствовала себя привязанной к домику, но в том была маленькая независимость. Девушка редко удалялась от него больше чем на сорок ярдов, если не считать чтений и тех случаев, когда Роман возил ее в деревню.

Пес

Убаюканный покоем, Люсьен задумчиво смотрел в окно. Потом взгляд его сфокусировался на черной собаке, двигавшейся дергаными прыжками. Когда пес приблизился, стало видно, какой он огромный.

Мам, смотри, наверное, бешеный, позвал Люсьен. Мать глянула в окно: Пожалуй. Из дома не выходи.

Ладно.

Они собирались обедать. Люсьен подошел к другому окну — вдруг Роман или Мари-Ньеж на улице. Никого не было, и он, вернувшись к первому окну, прижался лицом к стеклу, разглядывая животное. Пес молча описывал круги, словно в него вселился бес. Заметив человека в окне, он метнулся к крыльцу, но потом отбежал.

Уходит, сказала мать. Слава богу. Пес уткнулся носом в землю, а затем вдруг вспрыгнул на крыльцо и бросился в окно, вдребезги разнеся стекло, осколки которого вонзились Люсьену в глаз. Лапы пса окорябали его лицо; на миг Люсьен замер, а потом рухнул на пол. Голову опалило болью, и он подумал, что пес его грызет. Крикнуть не было

сил. Закричала мать, увидев окровавленное лицо сына; кровь была на его рубашке и подоконнике. Пес выдернул лапы из разбитого окна и свалился на землю.

Одиль бросилась к неподвижному сыну. Люсьен не издал ни звука, боясь шевельнуться. Мать заголосила, но потом крик ее перешел в судорожное дыхание. Люсьен ничего не видел и потому решил, что над ним сопит пес.

Потом все стихло, он один лежал на кухонном полу.

Не думая о собаке, что была где-то поблизости, Одиль побежала за соседями. Вернувшись, она положила голову сына себе на колени, а Мари-Ньеж осторожно смыла кровь соляным раствором. На лице порезов не было, но из левого глаза торчали два осколка, не давая веку закрыться. Не раздумывая, девушка выдернула один осколок. Рука Люсьена конвульсивно дрогнула.

Ты видишь?

Нет…

А другим глазом?

Не знаю… очень больно… Правый глаз налился кровью; было не понятно, поврежден он или нет. В левом глазу глубоко засел еще один осколок. Мари-Ньеж не решилась его вытащить.

Роман пригнал повозку; Одиль умостила голову сына на коленях, от дорожной пыли прикрыв ее марлей. Мари-Ньеж села впереди; между ней и Романом лежало ружье, которое прихватила Одиль.

Только отъехали, как вновь появился пес. Он держался на расстоянии, но было ясно, что он готов напасть. Затем пес поравнялся с повозкой, пытаясь цапнуть лошадиные копыта. Лапы его были окровавлены.

Стреляй! — крикнула Одиль. Роман передал поводья жене и прицелился; заряд взметнул пыль рядом с собакой. Внезапно пес успокоился и, сев на дороге, взглядом проводил удалявшуюся повозку. Мари-Ньеж то и дело оборачивалась, поглядывая на Люсьена и отставшего пса. Она всегда мечтала о собаке и уговаривала мужа завести щенка. Теперь с мечтой можно распрощаться. Потянувшись назад, она коснулась руки Люсьена.

Врач мсье Порселен был самоуверенный невростеник. Возможно распространение инфекции на неповрежденный глаз, сказал он. Чтобы сохранить юноше зрение, убеждал он Одиль, необходимо удалить левый глаз и хорошенько вычистить глазницу («полость»), Тогда инфекция

не достанет ослабленный правый глаз. Мнения Люсьена никто не спрашивал, и он надолго затаил обиду на тех, кто его изуродовал.

Когда его выписали, он едва различал цвета и контуры предметов. Зрение восстановится, сказал врач, однако год нельзя читать и, как ни странно, плакать. Люсьену было почти восемнадцать. Казалось, холодная злость — единственный допустимый отклик на то, что с ним произошло. В своем несчастье он винил троицу, что доставила его в больницу. Роман был виноват в том, что не убил пса, но уничтожил возможность проверить его на бешенство. Вина Фасолины в том, что она, видимо, промыла Люсьену глаза грязным раствором. Но больше всех провинилась мать, дав согласие на удаление глаза. Люсьен будто вновь стал тринадцатилетним подростком и замкнулся в себе. Он почти не выходил из своей комнаты, в озлоблении отказавшись от протеза. Как взрослый, он редко вспоминал о тех временах, когда хотел и мог открыто плакать.

Через месяц после катастрофы из Тулузы пришли заказанные Люсьеном книги. Он швырнул их в угол и закрылся в своей комнате. Если б в печке горел огонь, он бы их сжег. Книги так и лежали в углу до прихода на урок Фасолины. Она

подсела к сгорбившемуся на крыльце Люсьену и, пробравшись через предисловие, стала читать:

— Глава первая. «Три дара господина Д'Артанья-на-отца». В первый понедельник апреля тысяча шестьсот двадцать пятого года…[71]

Люсьен окоченел. Все в нем воспротивилось ее косноязычному говору, претензии на светскость и явному притворству, что ей вполне знаком парижский литературный стиль. Он сдерживался, чтобы ее не обругать. Но терпеть этого не станет. Завтра он просто не выйдет из своей комнаты. Перемена ролей обескуражила и ранила. Жена соседа-батрака, которую его мать вытащила из зыбучих песков неграмотности… Книгу она устроила на коленях, а в руке сжимала нож, которым разрезала страницы. Темные волосы застили ее лицо. Было невыносимо слышать, как она коверкает названия городов и фамилии. Люсьен неотрывно смотрел на дрожащую руку Фасолины, не вникая в смысл текста.

Дочитав главу, Мари-Ньеж закрыла книгу и, пряча глаза, отнесла ее в дом. На следующий день она не появилась. Еще через день она пришла помочь Одиль управиться с занавесками, и Люсьен

---

[71] Примечания: 71
Перевод В. С. Вальдман.

попросил кое-что растолковать из первой главы, чего он не понял.

— Я так нервничала, что сама ничего не помню, — сказала Фасолина.

Люсьен хмыкнул.

— Хочешь, я начну сначала?

— Нет, читай дальше. Еще интереснее, когда не знаешь чего-то важного.

Отдернув занавеску, Роман раздел ее при свете кухонной лампы. Она подросла и окрепла, отросшие волосы придали ей женственности. В постели она стала увереннее и уже сама стремилась к наслаждению. Отстранившись, она спокойно и бесстыдно смотрела, что он делает. Когда он в нее вошел, она куснула его в бороду и всем телом к нему приникла. Соитие было не прежним выплеском страсти, но поединком; опустошенный, в полутьме он видел ее блестевшее испариной лицо и понял, что взмок и сам, лишь когда она, приподнявшись, слизнула бисерины пота с его лба; ему показалось, что это сделала живущая в ней незнакомка.

Потом он заснул, но она лежала без сна. Медленно текло время; в тесной койке она прислушивалась к своим скачущим мыслям. Из кухни падал свет непогашенной лампы. Мари-Ньеж

натянула сорочку и подолом вытерла между ног. Приподнявшись на локте, она посмотрела на удивительно спокойное и довольное лицо спящего мужа. Наверное, сейчас он был по-настоящему счастлив, не ведая мирских тревог. Из-под кровати она достала книгу, обернутую старым полотенцем. Поддернув занавеску, чтобы свет не падал на мужа, она присела к столу и открыла первую главу. В истории не должно быть пропусков; она разъяснит все загадки и поведает о них своему другу, если он захочет о том узнать.

Люсьен помог Роману соорудить корыта для свиней. В предрассветные сумерки и полдень он заливал помои в кормушки, почесывая спины чавкающих хрюшек. На всю жизнь он запомнит упругую щетинистую кожу и потешные скачки испуганных животных. Когда через много лет в бельгийской деревушке ему придется делать инъекции солдатам, он вспомнит свой первый укол здоровенному хряку, подцепившему какую-то заразу. Загнав кабана в угол, Люсьен сграбастал его поперек туловища и вместе с ним завалился к стене; пока тот беспомощно сучил передними ногами, Люсьен изловчился всадить ему в бок заготовленный шприц. Процедурой руководил Роман, смешками ободряя горе-ветеринара. Уко-

лотый хряк ускакал как ни в чем не бывало.

Теперь в чтениях главенствовала Мари-Ньеж. Люсьен привык к ее манере наигрывать в сценах драк и поединков и ее неприкрытому изумлению тем, что кто-то смазал ядом книжные страницы, дабы отравить протестанта. Мир был полон ужасного коварства. Иногда Люсьен поправлял ее ошибки в ударении, но не затем, чтоб ее смутить, а чтобы в будущем она не оплошала перед чужаками. Читала она два-три раза в неделю. Теперь они снова были на равных: гадали о мотивах поступка героя, прежде чем все разъяснялось, и спорили, кто лучший мушкетер, смакуя факт, что Д'Артаньян тоже гасконец, родом из департамента Жер.

Работа в поле изменила Люсьена. Он загорел, его огрубевший голос больше не пускал петухов. Тот прежний мальчик исчез. Походка его, отмечала Мари-Ньеж, обрела уверенность, какой ей вовек не изведать. Вновь она мешкала на границе своего мира, не решаясь выйти на радостный свет, который дарил ее друг.

Издевки и посиделки

С Романом она познакомилась на ярмарке в поселке Сен-Дидье-сюр-Рошфор; торг с дядькой, который после смерти родителей был ее опекуном, занял не больше часа. Весной ярмарки невест проходили во всех окрестных местах — в Перизе и Шалоне. Мари-Ньеж было шестнадцать, Роману — за тридцать; писец накорябал их брачный договор.

Уже вечером их хрупкие узы подверглись осмеянию толпы человек в двадцать. В то время любой нешаблонный союз воспринимался как плевок обществу. Слишком скорая женитьба после смерти одного из супругов, узаконение отношений прелюбодеев или неравный брак вызывали град оскорблений в адрес жениха и невесты. Если новобрачная была богата, а суженый беден, заборы пестрели изречениями вроде «Будь жена хоть коза, лишь бы золотые рога». Когда сочетались бывшие прелюбодеи, перед их домом появлялись совокупляющиеся чучела. Иногда травля длилась месяцами, но если от издевателей откупались, те сворачивали ее через пару часов. Незнатные бедняки Роман и

Мари-Ньеж стали легкой добычей. Чучело Романа изображало дряхлого старика, который усадил себе на колени жену-младенца. Бывали случаи, когда издевки сводили новобрачных с ума, а один жених насмерть заколол насмешника шилом. Была свадьба, следом казнь.

Всю ночь перед дядькиным домом толпа с факелами била в барабаны и орала похабные песни. Роман не отходил от окна, а на рассвете выскользнул на улицу и отделал двух караульщиков, стороживших дом, пока остальные спали: одного крепко придушил, другому сломал запястья. Он стоял над распростертыми телами. Было около пяти часов, начинало светать. Из дома вышла Мари-Ньеж; Роман задул лампу, которую она держала в руках. Обнял молодую жену и ткнулся головой в ее шею. Коротко стриженная Мари-Ньеж была в мужской одежде. В дом они не вернулись. Взяли дядькину лошадь и в предрассветных потемках тихо вышли за околицу. В открытом поле Роман вскочил на коня, подал руку Мари-Ньеж и, вздернув ее с земли, усадил перед собой. В отблесках утренней зари они двинулись на юг.

Без остановок проехали через департамент Ардеш, питаясь тем, что удавалось найти в лесу

и на огородах. Подъезжая к Ниму, свернули на запад и пересекли департаменты Тар и Верхняя Гаронна; в Жере Мари-Ньеж сменила мужской наряд на желтое хлопчатое платье. Там оба нанялись на плодовую ферму, где вповалку с другими батраками спали в амбаре. До сих пор супружеской близости между ними не было; на третью ночь Роман разбудил Мари-Ньеж, и они ушли в тепло конюшни, примыкавшей к амбару. Лошади, тотчас почуявшие чужаков, насторожились. Роман прошел по стойлам и, успокаивая, погладил по лбу каждую лошадь. Семь лошадей. Шестнадцатилетняя девушка ждала его на лавке. Сквозь настежь распахнутые ворота светила луна. Присев на корточки, Роман ощупал пол, устланный грязной соломой. Потом в бочке с дождевой водой ополоснул руки, плечи и шею и постоял, обсыхая под ветерком. Мари-Ньеж тоже умылась и, пригоршнями черпая холодную воду, окатила ноги.

Все вокруг было окрашено синью. Через много лет, отбывая тюремный срок за драку, Роман будет вспоминать эту картину: Мари-Ньеж моет ноги, ее кожа отливает синевой, синеют зеленые поля, и только луна иного цвета. Потом он пригнул девушку к бочке и задрал ее желтое

платье, но она обернулась и поцеловала его руки, которые успокоили лошадей — единственных существ, что за все это время по-человечески отнеслись к ним в краях, казавшихся чужбиной. Роман коснулся ее восхитительно нежной щеки, шеи и мокрых взъерошенных волос. Она положила руки ему на грудь и поцеловала его шею в треугольном вырезе рубашки. Потом отвернулась, ухватившись за толстые края бочки с водой, где отражались луна и ее лицо. Роман проткнул ее; были неизведанная боль и осколки лунного отражения, что яростно плескались в колыхавшейся воде.

Добро тому врать, кто за морем бывал. На другой день кто-то их узнал и растрезвонил о скандальной свадьбе и зверстве Романа. Через полчаса супруги покинули ферму, оставив там воспоминание об окрестностях, залитых синим светом. Решив, что теперь скажутся братом и сестрой, на дядькиной лошади они отправились дальше на запад. Долгое время жили впроголодь, у Мари-Ньеж прекратились месячные. Близость между ними случалась, но истощение лишало плотскую любовь всякой радости. Все мысли были только о еде. Ночную жажду они утоляли из бурдюка с водой — своего единственного

имущества. Неграмотным, им бы пришлось вступать в разговоры, чтобы найти работу. Но они держались особняком. Работу пытались искать на ярмарках. В поселке Барран, что к западу от Оша, они увидели огромную шумную толпу. Здесь были и фокусники, и умельцы рвать зубы, и прорицатели, что распластают твое будущее, словно свернувшуюся змею. Оглядев прилавки, Мари-Ньеж поняла, что поспешила обрезать волосы, которые могла бы продать на парик.

В состязании, кто дальше всех пронесет свинью, победил Роман, первым рухнувший на финише с живым призом в руках. Еще не поднявшись с земли, он продал свинью фермеру, но затем передумал и предложил ее даром, но в обмен на работу. Фермер согласился: свинонос и его пацанского вида сестра стали батраками, получив кров в амбаре. Через пару дней их пригласили на общинные посиделки, проходившие в беленом строении. Собрание напоминало ночной рынок или сходку: у костерка сидели женщины, которые шили и вышивали, чистили яблоки и лущили каштаны. Чуть поодаль расположились мужчины, которые починяли или затачивали инструменты, кичливо пересыпая свою речь перлами мудрости. Роман подсел к ним и стал

сучить пеньку, прижигая концы пучков. Меж рядами ходила женщина с лопатой, полной горячей золы, из которой собравшиеся выбирали печеные каштаны и картошку; вторая женщина всех обносила кувшином с подогретым вином.

Посиделки сплачивали общину, здесь все работали добровольно, даже после изнурительного дня. Вовне оставались неподатливая, худо родящая земля и монотонная жизненная круговерть, отраженная в очевидных своей горечью избитых присловьях. *Жил собакой, околел псом.* Только здесь Роман и Мари-Ньеж наедались досыта. К концу дня они валились с ног, но ради еды шли на посиделки. Роман поглядывал на жену, стиравшую у костерка: рядом с другими женщинами она смотрелась ребенком. В темных уголках кое-кто улаживал свои амурные дела, не обращая внимания на едкие реплики о похоти. Парни и мужики не раз подъезжали к Мари-Ньеж, когда она выкручивала и развешивала над костром мокрые простыни.

Это были самые волнующие дни в ее жизни. Скрытность будоражила. Спала она крепко и без опаски. В битком набитом амбаре Роману приходилось сдерживать свои ласки. Когда они уже не могли себя обуздать, людность и греховный

кровосмесительный флер их любви делал ее… восхитительной. Было нельзя даже пикнуть, и только пригашенный взгляд передавал их желание. Ей было довольно одного прикосновения его руки, которую осторожность делала нежной. На посиделках, отвернувшись от грубого предложения очередного ухажера, Мари-Ньеж смотрела в толпу работников, зная, что Роман тоже на нее смотрит, и пожимала плечами, ероша волосы.

Дождемся ночи. Рука на ее плече. Прикосновение к нежной впадине под коленкой. Брат и сестра молчат, они почти неподвижны, и только он чуть-чуть об нее трется. Если б кто запалил свечу, ее охряной свет озарил бы пару, во сне прильнувшую друг к другу. Но их укрывала долгая тьма. Мари-Ньеж попкой чуть пихала его и ждала. И вот он в ней, но оттягивает извержение. Шорох. Кончая, он зажимал ей рот, но шумом было только его прерывистое дыхание возле ее уха. Если б теперь кто запалил свечу, он бы увидел брата, решившего удавить ненавистную сестру.

Поначалу, выдавая себя за кровных родственников, они были безвестны друг другу, но потом, войдя в роль, познали свои истинные желания. Им открылась не только супружеская любовь, но еще грозная быстротечность жизни, которая

застигла двух незнакомцев в попытке уцелеть среди чужаков. Они поняли, что в этом железном мире, где им пребывать до конца своих дней, абсолютно все может быть отнято, но можно сохранить друг друга.

Billet-doux[72]

Одиль Сегура умерла незадолго до свадьбы сына; впервые Фасолина пришла в дом незвано. Подсев к сосновому гробу, она уткнулась головой в его черный бок и замерла. Они дружили; в тени этой женщины Мари-Ньеж волшебно расцвела. Роман сидел в тюрьме (в Барране избил плотника), и она чуть не лишилась своего домишки, но Одиль внесла арендную плату. Когда Мари-Ньеж причитала у гроба, Люсьен решил, что ее слезы отчасти вызваны страхом потерять жилье; он отвел ее в сторонку и заверил, что и впредь будет вносить плату. Мари-Ньеж ожгла его презрительным взглядом и отвернулась. Она вновь села на стул, положив голову на край черного гроба. Люсьен понял, что обидел ее — превратно истолковал ее горе. Потом они долго не виделись, а когда встретились, она не захотела с ним говорить. Словами ничего не поправишь.

За годы, прошедшие между их первой встречей и его свадьбой, возникли два неизгладимых образа Мари-Ньеж, которые Люсьен, словно ис-

---

[72] Примечания: 72
Любовное письмо *(фр)*.

порченный стереоскоп, не мог сложить воедино. Была семнадцатилетняя девушка в желтом хлопчатом платье. В нем она работала в поле, с реки носила воду для скотины и приходила к ним в гости. А потом вдруг возникла почти незнакомая женщина десятью годами старше. Если Люсьен и замечал какие-то перемены, то лишь в себе — пушок на лице, первое бритье — и увядавшей матери. Но не в ней.

Теперь же он ее обидел и потерял. Мари-Ньеж его не замечала. Однако на свадьбе она вдруг коснулась его плеча и безмолвно обняла, приглашая на танец. Люсьен подчинился скорее от удивления, нежели из учтивости. Казалось, ей все равно. Чтобы снять напряжение, он заговорил о какой-то ерунде, но она не ответила и лишь разглядывала его — некогда своего лучшего друга, теперь тоже вступившего в брак, который однажды он поклялся никогда не обсуждать. Ее насмешливый и понимающий, точно у собаки, взгляд говорил о том, что ей известны все его отговорки и оправдания. Слова вылетели из его головы, и он просто танцевал, держа ее чуть на отлете, чтобы видеть ее лицо. Он чувствовал ее «округлости», о которых когда-то давно пошутила мать. Она была в простом хлопчатом платье,

которого прежде он не видел. Ее густые, темные и чистые, будто ночь, волосы были аккуратно расчесаны. Пригнувшись, он их понюхал. Пахло рекой. Пусть немудряще, но она озаботилась подготовиться к свадьбе. Наверное, провозилась кучу времени, точно невеста. Теперь они танцевали, не думая о чередовании шагов в вальсе, которому их обоих научила Одиль.

Красота Мари-Ньеж казалась знакомой, но вместе с тем это была совсем другая женщина. Мысленно соединив два ее облика, Люсьен уловил отголоски схожести. Но еще в них сквозила близкая ему душа. Дело не во внешности. Он понимал, что женится на той, чье лицо и тело пробуждают в нем желание. Но здесь было нечто большее и непостижимое — огромное и вместе с тем родное поле, в котором скрывалось сердце, среди всех мушкетеров неизвестно почему выбравшее Портоса.

Когда музыка смолкла, Мари-Ньеж, точно героиня романа, из рукава достала записку и сунула ее Люсьену в нагрудный карман. Письмецо жгло ему грудь еще час, пока он танцевал и болтал со свойственниками, путавшимися под ногами. Меньше всего его интересовало, кем они доводятся ему и его жене. Важным вдруг стало лишь то,

что касалось Мари-Ньеж. Он мог запросто предсказать мелководное русло, каким будет течь свадьба, но не ведал, как через неделю или даже час поведет себя та, кого он знал лучше других. Она не просто обняла его в танце, но дождалась самого верного и оправданного момента на свадебном пиру, чтобы передать ему *billet-doux,* как поступил бы персонаж Дюма. Записка гласила: *Прощай.* И еще: *Привет.* И напоминала, что *иногда весть, почтовым голубем отправленная в Гаагу, может все переменить.* Подобно вечно изменчивым романическим злодейкам, она совсем некстати разбередила ему душу.

Ночная работа

Увиделись они нескоро. Новобрачные покинули Марсейян и совершили путешествие в леса Бретани, а затем в Париж; после трехмесячной отлучки отношения Люсьена и Мари-Ньеж вновь стали натянутыми. Проникнув в компромиссную суть супружеской жизни, Люсьен понял: если он хочет быть не просто семьянином, а кем-то еще, то должен всерьез взяться за свое дело.

Поздним утром и днем он работал в комнате, некогда бывшей мастерской отчима. Из окна открывался с детства памятный вид, только нынче реку застили разросшиеся деревья. После ужина, когда жена и очередные гости уже почивали, он возвращался в свой сумеречный покой и, прежде чем зажечь лампу, вдыхал неистребимый запах машинного масла. Затем перечитывал то, что написал в дневной грезе, выискивая недосказанную мысль, которая послужит открытой дверью. Почти всю ночь он работал, окруженный темнотой за лампой. В мире, погруженном в пропасть снов, бодрствовали только перо и бумага. Временами из дальней спальни доносилось сонное бормотанье — нить в иную реальность, можжеве-

ловый корень, пробивающий дорогу под землей. Написанное Люсьен читал вслух, как читала ему Мари-Ньеж, когда ей было семнадцать, когда была жива мать, а Бальзак был для них слишком труден. Так они входили в большой мир. Там ли он сейчас?

Люсьен распахивал застекленные двери и выходил в ночь, прохладой забиравшуюся под рубашку. На склоне холма виднелся квадратик освещенного окна. Казалось, между ними туго натянут канат, под которым бездна.

Свойственники

Он сам толком не знал, почему стал писать. Запомнилось, как на свадьбе мать танцевала с часовщиком — несколько па в его объятьях. А еще — как на лугу она вальсировала с кошкой. Такие милые подсмотренные мелочи были путем в его собственный мир.

Женщины, что хорошо его знали (из таких были только мать и соседка), подметили, как изменил его ранний успех. Неуверенность его исчезла, он превратился в решительного и еще более закрытого юношу. Он закамуфлировал свою жизнь. Две эти женщины воспринимали его как существо, что по ошибке забрело в сад знаменитостей. В ярком свете известности он уподобился зверю из заморского зоопарка, за которым наблюдают даже ночью, хотя тот полагает, что скрыт темнотой.

Перед женитьбой родичи невесты посоветовали нареченным сходить к предсказателю, который славился точностью своих пророчеств. Сверившись со звездами, гадальщик посулил им благополучие. Пара уже собиралась выйти на солнечный свет, когда предсказатель ухватил

Люсьена за рукав и спросил:

— Вы хороший садовник?

— Нет, — ответил Люсьен, не желая раскрывать свою профессию.

Гадальщик выпустил его руку, но смотрел недоверчиво. Покинув задрапированную гостиную, Люсьен и его будущая жена часок-другой прогулялись по дороге в маковой кайме и далее отправились в супружество, породившее двух дочерей. Потекли годы притирки друг к другу, а затем годы горечи, и бог его знает в какую ночь, в какой час был преодолен рубеж предательства. Они одолели его, точно неприметный ухаб на дороге, точно экватор, который суденышко пересекает, о том не ведая, но весь их мир перевернулся вверх тормашками.

Публиковались очерки, живописавшие его успехи, мастерство, психозы, окрестности, отсутствие близких друзей, его скрытность и непохожесть, его душу. К ним прилагались карты Баньер-де-Бигорра, Гасконского Веера и Марсейяна. Появлялись рассказы какого-нибудь местного церковника, мясника или почтальона, проливавшие свет на затворническое молчание Люсьена Сегуры. Оказалось, его жена вела дневник своей ненависти к нему. Прочитав пару

страниц, Люсьен понял, что друг для друга они были невидимкой. Дневник представлял его уродом. Ночным рыкающим хищником из зоосада, что во тьме огрызается на сородичей, пожирая собственных детей.

Иногда он терял ту важную внутреннюю опору, что дает чувство безопасности. Сегура.[73] В имени слышалась насмешка. Безопасный мир исчез. Дочь, кажется Люсетт, входила в темную комнату, где он сидел, укутавшись в тонкий плед. Ее посылали разговорить его, вывести из задумчивости. Папа! Мать приказывала отнести еду, но девочка не совалась к нему с тарелкой. Ей было шестнадцать. Она хотела быть не посыльной, а соучастницей, хотела помочь ему пережить темный приступ. Он хорошо знал темноту, все ее ходы. Усевшись на пол, Люсетт опиралась спиной о его ноги, точно спаниель, жмущийся к молчаливому хозяину. Она запомнит томительные часы в душной комнате, когда даже легкое шевеленье отца казалось чем-то вроде беседы. Люсетт говорила о своих страхах, ревности, о том, чего ждет от будущего, и потихоньку Люсьен отвечал, рассказывая, каким был в ее годы. Он так и не

[73] Примечания: 73

Seguro *(исп.)* — гарантированный, обеспеченный. A Segura (le) llevan preso — береженого бог бережет.

мог вспомнить, какая из дочерей была с ним в сумрачной комнате в одно окошко в тот долгий день, когда он почувствовал, что у него нет кожи, и тонкий плед — его единственный покров, что лишь осторожным выдохом можно избавиться от булыжника, засевшего в груди.

Он вспомнил свой школьный железный пенал, а потом юную гризетку, с которой однажды соседствовал в вагонном купе и которой в трех своих книгах дал имя Клодиль. Ее спутник опасный тип, поведала она. Ревнуя к друзьям, держит ее взаперти и уничтожил ее мечты о будущем. Никто не смеет ему возразить. Сидя друг против друга, Люсьен и девушка разговаривали, точно закадычные друзья в ночном кафе. Она казалась разумной во всем, кроме отношения к своему покровителю. Как легко узнать себя в другом человеке.

Интересно, жена так же воспринимает его и их гнетущий союз? Вернувшись домой, он по-иному взглянул на собственную роль в семье, признав свою сдержанность. Да, с женщиной, с которой провел три часа в поезде, он был эмоциональнее и сострадательнее. Он уже скучал по ней, даже в своей занятости. Не сделав ни единого шага в ее жизнь, он стал сочинять ее бытие. Больше года он

описывал Клодиль и ее агрессивного кавалера, их апартаменты, ее свидания с писателем в Оше, в которых были желание и легкое распутство. Он изображал ее спящей, разглядывая ее утомленное лицо, рассказывал о ее дыхании, прерывистом в минуты любви, и о том, как она зачитывается книгами, которые добродушно подсовывал ей писатель. На год он с головой окунулся в ее мир. Закончив трилогию сказок о Клодиль, он распахнул дверь кабинета, и ему показалось, что минула целая эпоха. В усадьбе кишмя кишели свойственники. Он был в ответе за многоголовое семейство, больше не позволявшее жить для себя.

* * *

В зяте трудно распознать собственные пороки. Нужен взгляд с нейтральной позиции. Если бы Люсьен был уверен в своей объективности, он бы дунул в свисток и обложил гада. На месяц-другой дочь возненавидела бы его, но потом все поняла бы и приняла. И все же Люсьен чувствовал, что его дурят и верят в его роль патриарха не больше, чем сам он в лесть и угодливость сего многообещающего поэта.

Все так запуталось, что черт ногу сломит. Дочь Люсетт, которой стукнуло двадцать два, была

помолвлена с Анри Куртадом. За девятнадцатилетней Терезой ухаживал молодой поэт Пьер Ле Кра. С отеческой высоты виделась вся истина этих романов. Пьера Ле Кра влекло к изящной Люсетт, которая, в свою очередь, не пропускала ни одного его взгляда. Люсьен засек их общение украдкой: пожатие ладони при передаче салфетки, долгие перегляды на лодке, музицирование в четыре руки. Еще была фотография, все запечатлевшая. На групповом снимке семейство уставилось в объектив, и лишь эти двое пожирали глазами друг друга, забыв о свидетельском оке аппарата. Сию улику Люсьен хранил в своем кабинете.

Наверное, стоило обо всем помалкивать. Отцу ни к чему надзирать за владениями дочерей. Взрослые дети уже не дети; им немало известно, и они готовы примириться с гораздо большим, чем полагают родители. Однако Люсьен воспринимал это как измену себе и во всей этой чехарде высматривал всевозможные улики. Любовники затаивали дыхание, когда ночами он бродил по коридорам большого дома. Юнец обладал нахальным обаянием выскочки и, что ни говори, был хороший поэт. Люсьен Сегура не знал, что делать.

Когда Люсетт сказала, что беременна и пото-

му надо поспешать со свадьбой, он пригласил ее прогуляться в лугах. Но в разговоре наедине дочь не призналась, что питает к Пьеру хоть какие-то чувства. При упоминании юного поэта она посмотрела на отца как на сумасшедшего и скрылась за репликой, что вполне довольна своим женихом. Затем небрежно обронила: мол, в скором будущем возможна и сестрина свадьба. Люсьен засомневался: может, с годами его смекалка притупилась? Прогулка получилась недолгой; через три недели Люсетт вышла замуж, и на свадьбе Люсьен вел себя как счастливый отец. Он полагал, что роман с талантливым, но коварным поэтом закончен.

Вскоре Пьер Ле Кра опубликовал грандиозный стихотворный цикл, посвященный его будущей жене Терезе. В стихах отсутствовали характеристики конкретной личности, их природа была «универсальной». Вместе с тем произведения были щедро пропитаны ошеломляющим чувством, и через короткое время юного литератора чествовал Париж. Дело шло ко второй свадьбе. Тереза пребывала в экстазе, ее мать — в восторге. Весь дом лихорадило. Все это было показухой. Наблюдая за домочадцами, Люсьен понимал, что они не ведают другой истины. Реальную картину

представляла спрятанная в кабинете фотография, на которой любовники открыто пялились друг на друга. Этот Пьер проник в дом, словно по колдовству, не подвластному Люсьену. Люсетт росла воспитанной вежливой девочкой, вставшей со стула, если в комнату входил гость или посыльный. Она хотела тоже стать писателем и неустанно работала над собой, тщательно правя свои сочинения, дабы найти верный ритм или метафору. В последние годы она даже помогала отцу и как-то раз очистила его творение от пары слащавостей. Худенькой ручкой Люсетт указала на витиеватые фразы и предложила более сдержанный вариант, робко глядя на отца — мол, так не лучше? Однажды для работы понадобился астрономический трактат Фламмариона,[74] и Люсьен купил два экземпляра, дабы одновременно с дочерью пробираться через ландшафт книги. Казалось, они мыслят одинаково.

Но за время между свадьбами все опрокинулось. Люсьен знал, что Люсетт не хотела ранить сестру, однако нарочно по ночам пробиралась в ее спальню, где ублажала зятя. Парочка на ходу трахалась в дилижансе. В условленный

[74] Примечания: 74

Камиль Фламмарион (1842–1925) — французский астроном, известный популяризатор астрономии.

час Люсетт спешила к садовой купальне, где ребенком любила плескаться и где нынче ее ждал уже голый любовник, и, войдя в нее, завязывала дверцу лентой или бечевкой. Порознь приехав в Париж, в гостиничном номере они накачивались абсентом и, пьяные, спали вместе. Литрами пили черный кофе, а затем ночь напролет творили. Они были осторожны, и ничто не могло их разлучить.

Но ведь Люсетт уже была замужем за милым увальнем Анри Куртадом, не так ли? Однако сестрин суженый, то вялый, то живчик, рассыпавший перлы остроумия перед всеми домочадцами (что восхищало Люсетт), всех дурачил, только чтоб быть с ней рядом.

— Если ты не разорвешь помолвку и не выйдешь за меня, — предупреждал Пьер Ле Кра, — я любым возможным способом проникну в твою семью.

— Валяй! — отвечала Люсетт.

— Я сделаю предложение Терезе и, если она откажет, устроюсь к вам архитектором или садовником.

— За садом приглядывает наш сосед.

— Значит, я стану биографом твоего отца.

— Биограф ему не нужен, он и так известен.

— Тогда я тебя обрюхачу, и катись оно все к черту.

Правил для них не существовало. Пожалуй, только одно — быть вместе.

— Если у меня будет ребенок, то лишь от тебя, — сказала Люсетт. Это стало вторым правилом.

Она все в нем принимала и томилась по нему.

Я хочу… Дай мне… Его…

Здесь?

Да.

На чьем-то вспаханном поле она опустилась на колени; он кончил ей в рот. Окружающий мир вернулся, лишь когда она поднялась.

Взбираясь к садовой башне, Люсьен одолел половину лестницы, когда, взглянув вниз, в купальне, слегка перекрытой березой, увидел свою сильно беременную дочь. С тех пор как дети выросли, купальней почти не пользовались. А раньше летом там плескалась вся семья. Люсьен приостановился; Люсетт энергично намыливалась, и ему вдруг стало легко и радостно. Любовь надо принимать такой, какая есть. Ведь некогда он сам был таким же глупцом. Ну и что? В конечном счете все утрясется, даже это.

Наверняка, дочь понесла от Пьера, но все будет в порядке. Случается, факел похоти вспыхивает

в чудных полутемных комнатах, однако семья как-нибудь его обуздает. Люсьен это знал по собственному опыту. Он продолжил подъем по железным ступеням, но снова оглянулся: мокрыми руками Люсетт пригладила светло-русые волосы, отчего они потемнели. Потом она будто что-то услышала и, повернувшись спиной, нагнулась, и тут ее заслонила стройная фигура голого Пьера Ле Кра.

Из невинного счастливого зрителя Люсьен вдруг превратился в соглядатая. Дочь уперлась руками в заплесневелую стенку, а Пьер, ухватив ее за белые бедра, безостановочно ей всаживал, словно пытаясь пробиться к центру вселенной. Люсьен вспомнил ручку Люсетт, что смахивала крошки ластика со страниц его рукописи.

Он поспешил вниз по лестнице — к земле, с которой открывался лишь нормальный человеческий обзор. С высоты десяти метров смотришь за ограду, видишь неожиданно открывшийся дом. Писатель на воздусях. Японские живописцы называют это «техникой снесенной крыши». Проклятым всевидящим оком он узрел неприкрытую правду их любви. У девочки, которую после приснившегося кошмара он баюкал на руках, теперь потребности взрослой женщины. Отец не должен

этого видеть, хотя некогда с этим же созданием они вместе плескались под водяными струями.

Ростом она была ему по колено.

Бывали ночи, когда Люсьен, взбудораженный безумством дочери, не мог уснуть. Как ее, воспитанную и послушную, угораздило связаться с таким человеком? Или все потому, что Пьер — именно тот мужчина, какой ей нужен, и плевать на все принципы? Видимо, негаснущий уголек похоти так ее распалил, что семейная скорлупа уже не могла сдержать пожара. Однако сейчас Люсьен еще больше любил свою гордую несгибаемую дочь, соратницу по трудам Фламмариона, которая, не спросясь, впрыгнула в жизнь опасного чужака, в ком лишь одно могло вызывать симпатию: стоя раком в садовой купальне, именно его ласкам она отдавалась и, беззащитная перед наслаждением, подмахивала задом.

Порой истина скрыта столь глубоко, что взрослый может отыскать ее лишь за долгие часы ночного переписывания, что сродни заточке клинка. Детям же тотчас все ясно. Непостижимо, как стихотворный цикл Пьера вышел столь мощным и достоверным. Невероятно, чтобы дочери были так близки и так небрежны друг с другом. Некогда карманы Люсьена были полны

мудрости, которую он раздавал детям. Разве не он научил их перелезать через ограду и правильно кормить собаку?

* * *

Возможно, в своей жизни он «уже достаточно сделал», как сказала ему одна романистка; это было перед войной, на светском приеме. Она имела в виду, что им написано достаточно, чтобы считаться выдающимся хотя бы по меркам литературной карьеры. Уже тогда это его не утешило. Славы он не хотел, она была ему чужда, как и в двадцать лет. Он защищался от нее разноликостью. (Он всегда путешествовал лишь с одним спутником, с которым прощался, скажем, в Лапалиссе и затем находил себе другого, с кем ехал в Бургундию.) Тем не менее в салоне на авеню Гош он танцевал с хрупкой, словно птичка, романисткой, одна рука которой лежала на его плече, а другая гусиным крылом обвила шею. Уловив кое-какие намеки, он представил ее своей любовницей. Она обладала изящным слогом, ее произведения имели успех. Но для него писательство было убежищем. Он хотел, чтобы все было безотчетно, как в его первые годы работы, когда страница казалась голубятней, где

он скрывался от уже изведанных царств. Была встреча, волнующая многообразность. Никакой рассудочности. Начав писать, он не мудрствовал, но потом рассуждения стали его неотъемлемой частью. А хотелось-то одного: бесцельно вальсировать с кошкой.

Буа-де-Мазер

Церковную колокольню в Барране отреставрировали давно, когда еще была жива мать Люсьена. Роман, кряжистый, но проворный, тоже подрядился работать на пятидесятиметровой высоте, ибо за это платили как нигде. Подвешенный в веревочной упряжи, он отдирал сгнившую обшивку, обнажая остов перекрученной башни. Затем, вместе с другими качаясь на блоках в ее темном восьмиугольном нутре, укреплял несущие балки и на каждом уровне настилал полы.

Два месяца, пока над равнинами гуляли снежные бури, работы шли внутри колокольни. Потом работники вышли на свет и занялись внешней обшивкой. К тому времени Роман стал рисковым, как его работа. Почти всегда он трудился без напарника. Спустившись на землю, он покачивался, точно пьяный, ибо целый день пребывал в напряжении, пока висел на стропах или стоял на краю доски, окруженный вселенной департамента Жер. С высоты просматривались тропы, петлявшие в лесу, Ош в двадцатикилометровой дали и дорога, которой ежевечерне Роман верхом отправлялся домой. Около восьми они с Мари-

Ньеж ужинали, а в пять утра надо было вставать и снова ехать в Барран. Если б не эти вечерние одинокие поездки и тихие усыпляющие беседы с женой, Роман сошел бы с ума. В семь утра он уже вновь болтался на деревянной колокольне, цепляясь за балки, вытесанные в тринадцатом веке. Всю зиму он работал на покатой крыше. Самым паршивым было в сумерках спускаться и вновь привыкать к земле.

Однажды ночью выпал снег, ненадолго укутавший землю белым покрывалом. Обычно с первыми лучами солнца он таял, вновь уступая место зелени лесов и полей. Но Роман выехал еще затемно, и на белой пороше его конь оставлял тропку следов, дугой изгибавшуюся к лесу. Роман всегда ездил через обширный Буа-де-Мазер — так на дорогу уходило меньше часа. Отяжелевшие ветви шаркали его по плечам, роняя снег на его колени и лошадиный круп. Роман бросил повод, чтобы конь сам выбирал путь и запомнил, как возвращаться.

Откинувшись на спину, сквозь ажурный полог он смотрел в небо. В эти ничейные минуты он вел себя как мальчишка. Брошенный повод чиркал по коленке, мыслей не было вовсе. Для него, неграмотного мужика, который говорил

лишь в случае необходимости, всякое движение было полно смыслов и допускало разнообразные толкования. Заминка в ответе жены или начальственный тон прораба сообщали ему даже больше чем нужно. Раздумье о сороке, с чем-то ярким в клюве сиганувшей с дерева, медленно крутилось в его голове, точно мельничный жернов.

Когда Роман въехал в лес, птицы еще не проснулись. Первый щебет окатил его, будто волна. Дубы и буки шорохом вторили птичьему пению и перекличкам, создавшим впечатление многоголосого базара. Для Романа корова, свинья или испуганная собака ничем не отличались от людей — они точно так же проявляли себя тоном и жестом. Выражение морды извещало о сломанной лапе или жажде. Но птичьи трели, которые он любил, оставались великой тайной. Он подлаживался под их безмерный строй, в котором была вся лесная и небесная жизнь. Где бы ни работал, он всегда улучал минутку, чтобы заглянуть в лесок или рощу.

По глазам резанул свет с открытого поля; Роман сел и вдали увидел перекрученную колокольню. Со стороны он казался ко всему равнодушным. Когда Люсьен донимал соседа насущными, на его

взгляд, вопросами, тот редко отвечал, но просто показывал пальцем или отмалчивался, считая, что потом все само разъяснится. Лишь после того как мальчик, потеряв глаз, замкнулся в себе, Роман стал к нему чуть мягче. После свадьбы он не доверял чужакам. На узкой улице жался в сторону, давая встречным дорогу. Но, почти неимущий, он бы сразился с легионом, защищая свои небогатые пожитки — кровать и стол, а еще двух лошадей и свиной выводок — и то, что считал по праву своим: женины руки и лесную тропу. Все другое было ему чужим и даже враждебным.

Вечером Мари-Ньеж подвешивала в дверном проеме две зажженные лампы — маяк, позволявший Роману свернуть с дороги и ехать напрямки через поле; спускаясь с холма, он издавал долгий волчий вой — мол, я близко. Одно время Люсьен, его мать и невеста были уверены, что неподалеку шныряет настоящая зверюга. Не бойтесь, волков нет, говорила Мари-Ньеж, не объясняя источник воя, и соседи не очень-то ей верили. Этот знак был вроде самой нежной связи между ней и мужем.

На стройке Роман облачался в кожаный фартук с карманами для гвоздей и прорезью для молотка; он ни с кем не общался и сразу лез на верхотуру, где кроме него был только режущий ветер да

еще эхо его инструмента и голосов рабочих. Их крики, похожие на лисье тявканье, напоминали об издевках толпы в его брачную ночь. Вот так накапливались мелкие безмолвные детали, оставлявшие след в его душе. Воспоминание о сороке с украденной блестяшкой в клюве казалось знаком.

Из церкви в соседнем Монтезале он выломал подножку молельной скамьи, где была вырезана кормящая грудью Мадонна. Со стен снял иконы. Забрал мраморную чашу. Коврик. Крест черного дерева. Молитвенник в фетровом переплете. Фонтаний, Дуэль, Бруэль, Мальмор, Сенийя — повсюду были старые церкви, ночью безлюдные, одинокие в своем скромном убранстве, окутанные холодной темнотой. Иногда Роман не возвращался домой, но объезжал деревушки на окраинах огромного леса; вздремнув в темной церкви, он забирал полезные вещи, в которых храм, на его взгляд, не особо нуждался: тесьму, серебряный оклад, выгравированный образ. Добычу привозил на лесную опушку и ждал рассвета. Вокруг все заиндевело. В темноте на пробу чирикали проснувшиеся воробьи, глухо клекотали хищные птицы. Роман откапывал укрытый парусиной тайник и добавлял в него

новые приобретения. Все это богатство можно обменять на саженцы, зерно и одежду.

Последним этапом работ на колокольне стала сланцевая кровля. Сланец, привезенный из Анже, надо было укладывать встык, прибивая ребристыми медными гвоздями. Роман балансировал на выступе, десятью метрами ниже креста и петушка. Окаймленный заснеженными полями, зеленый лес казался огромным клеверным листом. Он хранил все церковные богатства, кроме раскрашенного цветка, отломанного от резной фигуры святого; прибереженный для Мари-Ньеж, он затих в кармане Романа, точно живой жаворонок.

Оторвавшись от работы, вдали Роман увидел жену. Несмотря на расстояние, он всегда распознал бы фигурку верхом на лошади, что последние полчаса трусила к Баррану. Потом случилась драка, и Мари-Ньеж так и не рассказала, зачем ехала к мужу, какую новость хотела сообщить. С колокольни Роман видел, как жена, казавшаяся укороченной, привязала лошадь и направилась к группе плотников. Мужики нагло пялились — на стройке вдруг объявилась баба. Потом глянули вверх, ткнули пальцами на колокольню и заржали. Роман замер на башне, причудливую

форму которой многие считали произведением шального урагана или безумством влюбленного кровельщика.

Поля

Возвращаясь с тюремного свидания, Мари-Ньеж всякий раз по краю обходила два своих поля — одно, что подковой охватывало хлев, и другое, побольше, на склоне холма. Роман брал «на уход» соседских лошадей и свиней, что позволяло сводить концы с концами. Без него сия статья дохода пропала. Как-то в сумерки Мари-Ньеж обходила свои владения, и тут ее осенило: «подкову» можно превратить в огород себе на прокорм, а овощи с большого поля пустить на продажу. Оставалось возродить землю, которую взятая на постой скотина общипала догола. Вилами Мари-Ньеж разбросала по полям навоз и растительные остатки, присыпала землю золой; потом сгоняла в Марсейян на бойню, где набрала обрезков и костей, что были на вес золота. Грядки, где посадила капусту, она удобряла сажей, глинистые участки поливала известью и аммиаком, песчаные места подкармливала коровьим навозом, а известняковые — конским. Кое-что из этой науки она уже знала. Остальное почерпнула из одолженной у Люсьена брошюры, где рассказывалось о возрождении земли в районах сражений.

Все это напомнило роман, в котором Корнелиус пытался вырастить идеально черный тюльпан.

Сорняки она сгребла в кучу на краю большого поля и, дав им неделю высохнуть, запалила костер. С холма поплыл едкий запах, проникший в кабинет Люсьена, который через окно разглядел соседку в обрамлении огненных языков и дыма. Семена Мари-Ньеж не разбрасывала, а втаптывала в землю. В военной брошюре это называлось «пломбировкой». Кустарник вырубила, лишь вдоль ограды оставила плодовые деревья. Междурядья новых огородов она выстелила ватой, чем обескуражила воробьев, а в кротовые норы напихала обрезки червяков, обваленные в порошке из чилибухи. Насколько она была нежна с посевами, настолько же крута с вредителями. Саженец с комом влажной земли она несла так бережно, словно возвращала в гнездо выпавшего птенца. Теперь ее жизнь была тропкой меж времен года: с февраля по апрель сажаем лук и сельдерей, с мая по июль — черемшу и савойскую капусту.

Она повзрослела. Перед свадьбой плакала, а потом увидела, как в брачную ночь муж кого-то чуть не убил. Он жил по жестким правилам самозащиты, которые постиг на ферме. Но их мир был еще жестче. Теперь Роман сидел в тюрьме,

ибо под колокольней в припадке ревности едва не прикончил плотника. Семь человек с ним еле справились. Отбивался что твой олень. Когда с вышины Роман увидел жену среди работяг, он не знал, что она беременна.

Раз в неделю Мари-Ньеж ходила в марсейянскую тюрьму на свидания. Через месяц как мужа посадили, на обратной дороге у нее случился выкидыш. В канаве она потеряла то, что они с Романом создали. Через час очухалась. Густой чертополох остался в памяти, словно выжженное тавро. В обочину дороги она воткнула крест, связанный из двух прутиков, собрала в подол желтого платья кровавое месиво и, добравшись домой, похоронила его на поле-подкове.

Вот тогда она поняла, что такое жизнь. В ней всегда будут бессильные грезы и богач, что верхом на коне скачет по миру, заглядывая в дубравы лишь затем, чтоб вдохнуть березовый аромат, напоенный послегрозовой свежестью.

— Где твое желтое платье? — подвозя ее в город, спросил Люсьен; в ответ она что-то промямлила и смолкла.

Через пару дней они допоздна беседовали. Роман все еще был в тюрьме, и Мари-Ньеж полагала, что ей уготована судьба бессловесной скотины.

Она поведала о своей нищете, о которой Люсьен понятия не имел. Жил под боком, но замотался в собственных хлопотах.

Съездив в город, он выкупил у владельцев ферму Мари-Ньеж, оплатив сделку деньгами и обменом полей. Потом заверил бумаги у нотариуса и через день поднялся на холм к дому своей соседки. Мари-Ньеж стояла у колодца; Люсьен ее окликнул, но она не шевельнулась. Все смотрела в глубину. Он к ней подошел, и лишь тогда она встрепенулась, выйдя из забытья. Мари-Ньеж прослышала, что кто-то купил ее ферму. Люсьен взял ее за руку, она попыталась ее выдернуть. Он не отпустил. Потянул ее в дом. Вот так же ее тянул Роман, чтобы разложить на столе или кровати. Сердце ее смятенно стучало. От страха за себя и своего друга.

Люсьен усадил ее за синий стол. Через несколько лет он заберет этот стол, который станет для него самой дорогой на свете вещью. Люсьен положил купчую перед Мари-Ньеж, сидевшей справа от него. Прочел и растолковал все пункты. Слово «шок» не передаст ее состояния, когда она увидела свое имя. В жизни ей никто не делал даже меньших подарков.

Через пару минут ее отпустило.

Что? — спросил Люсьен, тотчас заметив в ней перемену. Мари-Ньеж покачала головой и стала читать дальше. Она не выдохнула, не шевельнулась, но Люсьен, хорошо ее знавший, понял, что ей полегчало. Что? — повторил он.

Ничего, улыбнулась Мари-Ньеж.

Одна мысль, никак не связанная с широким жестом Люсьена, позволила принять его роскошный дар. Ведь они давние союзники. Кроме нее, никто не знал природу их союза: когда вместе читали, она машинально садилась справа от него, со стороны зрячего глаза, чтобы вдвоем следовать по странице, чтобы слепой глаз — вот же беда-то, ей-то еще с полугоря — не помешал их единению.

За ужином, который не насытил бы и воробушка, Люсьен, желая хоть что-нибудь похвалить, превозносил вкус колодезной воды, пока его не высмеяли. Как всегда, он стеснялся говорить о своей работе. Они строили огородные планы, и, вернувшись домой, Люсьен отыскал на полке ту военную брошюру. Став владелицей земли, Мари-Ньеж вся трепетала от новых возможностей. Люсьен поделился мелькнувший мыслью: теперь она вступает в мир, где выращивают черные тюльпаны. Мари-Ньеж кивнула. Они были

очень близки.

В тот вечер Люсьен больше молчал, но Мари-Ньеж все о нем знала: о его шумном успехе, двух дочерях, жене. Он уже собрался уходить, но она попросила его сесть и рассказала о выкидыше, который все никак не могла изжить. Никак. Не могла.

Голая лампа над синим столом. Ладонями он накрывает ее худенькие руки, в которых ничего нет.

Раздумье

Они были очень близки, но мысль о плотской любви с ним не возникала. Шальной танец на его свадьбе был всего лишь игривым знаком окончания их юности. Вальсу, уроки которого проходили на гумне, их обучила его мать. Коль вы читаете о жизни в Париже и Фонтенбло, сказала она, то должны овладеть светскими навыками, из которых для мушкетера главные три: верховая езда, фехтование и танцы. Танец в его понимании, подкрепленном изучением гравюр, был актом, в котором, обнимая партнершу, следует затолкать ее в дальний конец комнаты, а девушка воспринимала хореографию просто как способ пообщаться под чарующую музыку. Одиль была вынуждена обоих просветить.

И все же друг с другом они держались сторожко. Жили по соседству, но каждый своей жизнью, своей верой. Ей казалось, что некая слепота была ему свойственна еще до случая с собакой. Чуткий и тонкий, он, однако, не понимал истинного нрава жены и во всех супружеских неурядицах винил себя. Сострадающий мечтатель, он не ведал, что мир соткан из разномастных лоскутов, и

потому охват его великодушия был невелик. Он топтался на околице реальной жизни.

Сама она тоже плохо знала большой мир, наверное, еще хуже его. Жизни вне дома для нее не существовало. Вечерами она сидела в кухне, потом укладывалась в кровать за занавеской. Хотелось написать Роману о том, как она его любит, как по нему изголодалась, но неграмотный муж не смог бы прочесть ее письма. Она сожалела, что не выучила его читать, — сейчас ему было бы не так одиноко, — но он всегда возвращался с работы измученным. Дождавшись темноты, она ополаскивалась дождевой водой из бочки, что стояла у хлева, и, запалив лампу, возвращалась в дом. С книгой садилась в кресло, но почти сразу засыпала. Читать при комнатном свете она не умела, хотя каждый вечер пыталась. Радость была уже в том, чтобы с книгой в руках умоститься в мягком кресле. Когда лампа выгорала, она просыпалась. Наверное, ее будил чадящий фитиль. Минуту-другую она приходила в себя, а потом в темноте забиралась в кровать.

Война

Кривой, Люсьен Сегура в боях не участвовал. Он записался добровольцем в команду, которая изучала хвори и травмы в зоне боевых действий у бельгийской границы. Люсьен прибыл с трактатами о новых методах реабилитации, которые сам перевел с немецкого, но измотанным молодым врачам было не до него. Вокруг творилось черт-те что: минометный огонь, голод и, более всего, страх косили войска. Меньше всего здесь требовались научные изыскания. Люсьен готовил отчеты и работал в лазаретных палатках. За месяц он стал другим человеком, не отличимым в море бойцов и санитаров: исхудал, его эспаньолка разрослась в неопрятную бороду. Он продолжал слать в Париж раздраженные и злобные отчеты, которые, видимо, никто не читал, их просто хоронили в архиве.

На втором году службы Люсьен подхватил дифтерит. Сначала его слегка лихорадило, потом ему стало трудно глотать. Через два дня он не мог даже шептать — парализовало гортань. Горло распухло, он задыхался. Глядя на харкающих кровью соседей по инфекционной палатке, он

понимал, что видит свое отражение. Покорный фаталист, сейчас он всеми силами противостоял изнуряющей боли, от которой мутилось в голове. Люсьен знал, что первые двенадцать дней болезни — самые безжалостные и опасные. Сознавая, что в лазарете полно иных хворей, он выбирался из палатки и спал на улице, чтоб не дышать зараженным воздухом. Среди тех, кто ступил на тропу смерти, невозможно уединение, в котором он нуждался, дабы сохранить остатки сил. Люсьен глотал лишь все кипяченое, отказываясь от неизвестного питья.

Получив неутешительный прогноз военврачей, в Эперней приехала его жена; она едва узнала Люсьена среди других больных. Когда он заговорил, она не понимала ход его мыслей и дикую озлобленность на политиков. Он требовал, чтобы его оставили с «товарищами», хотя в желании выжить был полностью сосредоточен на себе и течении своей болезни.

Через двенадцать дней его и других уцелевших отселили в изолятор, где они сами готовили и сами за собой ухаживали. В них еще жила зараза. Беловатая пленка, «горловая чума», еще могла их удушить. Испанцы называли ее «удавкой» — 1613-й был «годом удавки». Люсьен больше

других знал о дифтерите и, даже распластанный на грязном полу палатки, кичился своими познаниями. В 1670-х, под микроскопом разглядывая слюну, Левенгук[75] обнаружил бациллы, «шнырявшие, точно щурята в воде». Поэтический собрат. Американские колонисты сочли болезнь «плодом греховного блуда», Божьим промыслом для очищения мира. В борьбе с дифтеритом применялись средневековые методы, но когда он выкосил наполеоновскую армию, император обещал двенадцать тысяч франков тому, кто найдет противоядие сей заразе. Опыт Бретонно,[76] вставившего в свое горло искусственную пленку, навсегда останется классикой клинической медицины. Затем Агостино Басси,[77] изучавший зараженный шелкопряд, вывел доктрину о микробах-паразитах. Но в 1917 году на бельгийской границе в борьбе с болезнью не было иных

---

[75] Примечания: 75

Антони ван Левенгук (1632–1723) — голландский натуралист, основоположник научной микроскопии.

[76] Примечания: 76

Пьер Фидель Бретонно (1778–1862) — французский врач, который дал первое доскональное клиническое описание дифтерии и предложил само название «дифтерит» (от *греч.* diphtheritis — кожный); с его именем связано введение в широкую хирургическую практику трахеотомии.

[77] Примечания: 77

Агостино Басси (1773–1856) — итальянский бактериолог, открывший болезнетворные микроорганизмы.

средств, кроме молитвы.

Люсьен Сегура все еще был жив. После горячки наступила прострация, когда, обессиленный, он лежал на узкой койке, тупо уставившись на свою ладонь или обложку какого-нибудь чудовищного романа — возле палатки солдаты оставляли всякую белиберду, но однажды кто-то положил «Шуаны» Бальзака, историю «любви и приключений». В лихорадочном изумлении Люсьен заглатывал по тому в день.

Уединение постепенно избавляло его от повседневности. Мир представал через раскрытые клапаны палатки. Как-то раз Люсьен услышал непонятный шорох, природа которого разъяснилась, лишь когда в проеме возник офицер, на ходу пытавшийся развернуть большую карту. Звуки стали важны, ибо порождали воображаемые картины… В Марсейяне он лежит на кушетке и слышит подлетающую стаю ворон, которая затем шумно устраивается в тополях. Вот знакомо простучали копыта лошади, что в повозке везет Мари-Ньеж, а сейчас слышны струи садового душа, бьющие то в землю, то в тело купальщика. Он улавливал шорох скальпелей на резиновой подстилке, доносившийся из операционной палатки, и далекий предсмертный кашель, в

котором распознавал затаенный страх. Звуки складывались в карту, позволявшую определять расстояния, отличать шаги по слякоти и в пыли, удалявшиеся и приближавшиеся голоса.

Сгорбившись в палатке, он все писал отчеты, а остаток сил тратил на воспоминания о своей юности и недозрелой взрослости, перебирая ситуации, которые могли бы его изменить, и тогда в здешние темные небеса смотрел бы другой человек. Он будто впервые в жизни поглядел в зеркало, смутно отразившее его память. Ночные обольщения мадам де Реналь из «Красного и черного» его чему-то научили? Или обманули? Танец с хрупкой романисткой. Пес. Прошлое бездверно. Пережитые события заполнили мышастую палатку, где прежде обитала неминуемая смерть. По ночам многие мерли под аккомпанемент зарядивших ноябрьских дождей. У Люсьена сохранился фонарик с подсевшей батарейкой, которым он пользовался лишь в крайних случаях. Понимал, что фонарик тоже смертен.

Странно, он думал не о семье, но о Мари-Ньеж, с которой после женитьбы почти не разговаривал. Несколько ночей кряду взбудораженные мысли все гарцевали вокруг нее. Вспомнив какую-нибудь сцену, Люсьен заставлял себя заново

и неспешно ее пережить. Вот Мари-Ньеж встает от шитья, потягивается и, засунув ладонь в рукав, разминает затекшее предплечье. Будь он проще, сам помассировал бы ей руку. В нем жило нечто вроде братского влечения к ней. Вживаясь в событие, теперь он вместе с ней входил в комнату… нет, хлынул дождь, и он помогает ей донести белье, взятое в стирку, — с тюками в охапке они вбегают в ее дом, их одежда в дождевых крапинах… нет, насквозь промокла. Из корзины она достает полотенце и вытирает ему волосы. Он пригнул голову и положил руки на ее плечи, ощутив ее тугую, без единой жиринки плоть.

Тем ноябрем в Эпернее лишь она его согревала. Мысленно он тянулся к ней, точно к газовой горелке. Вечно скрытный, сейчас он был ошарашен секретами, которые таил от себя.

Побывка

Он получил десятидневный отпуск. Стоял август, каждый вечер небо пугало грозой. Иногда зарницы полыхали всухую. В душе его была та же сумятица, что и в небе, нежданно прорезанном вспышкой. Далеко за полночь он бессонно бродил по прибрежным лугам. В доме спали жена и дочери. Прошло три или четыре дня, но Люсьен все не мог привыкнуть к тишине и внезапным всполохам, озарявшим комнату, где он мучился в ожидании сна. Мирная жизнь казалась замерзшей рекой. Покой был лишь в прошлом, где Мари-Ньеж прохаживалась вдоль ровных грядок или катила тачку с выполосканным в реке бельем.

Его необычайно тронуло, когда рукой, пахнущей землей, она погладила его отросшую бороду. Хотелось как-нибудь ее отблагодарить за то, что в Эпернее она его спасла. Но он боялся, что его странная одержимость ею в дни болезни станет заметна невооруженным глазом.

Скрывая душевную бурю, он приводил в порядок отчеты. Дважды съездил в Марсейян. Город опустел — почти все мужчины сгинули на

германской войне. Вдовий поселок. Романа выпустили, сказала Мари-Ньеж, но тотчас забрили в солдаты. Любопытно, за что ему велели воевать?

Давно минула полночь, но сна нет. Он одевался и шел к реке. Покинув тропинку, нырял, точно в воду, в высокую шершавую траву, из которой, предательски гудя, вздымались тучи мошкары.

Очередная ночь. Сна нет, в порядочной дали слышны раскаты грома. Дождь не стучит, он погружается в тревожный сон. Новый удар грома похож на издевательский хлопок в ладоши, он безнадежно проснулся.

Очередная ночь.

Скинув рубашку, он стоял в стрекоте цикад и кузнечиков. Охряной огонек лампы, качавшийся за деревьями, был подобен суденышку в бурном море. Она подошла, и оба замерли, словно в ожидании знака, но тишину вновь нарушило жужжанье насекомых. Даже здесь, после стольких лет смежной жизни, их не оставили наедине. Природа бдела. Высоко в ветвях назойливо печалился недосягаемый пересмешник, которого он так никогда и не увидит.

Она опустила лампу. Оба молчали, словно тьма была водой, в которой рябь от брошенного слова побежит к дому. За руку он повел ее к реке.

Она прикрутила фитиль, оставив лишь слабый огонек, чтобы потом не потеряться в темноте, отступила в сторону, разделась и вошла в воду. Он слышал плеск ее шагов. Они стояли лицом друг к другу. Задев ее под водой, он смущенно отдернул руку, словно извиняясь за прикосновение. Бескрайнее небо, слившееся с рекой, было беззвездно. Люсьен шагнул вглубь темноты. Последний раз ночью он купался еще мальчишкой. Вспоминая себя шестнадцатилетнего, он не сразу заметил, что Мари-Ньеж рядом нет.

На берегу белел ее контур. Она подняла лампу и окликнула его.

«Сейчас», — сказал Люсьен. Когда он вошел в свет, стали видны его выпирающие ребра. Она поставила лампу на траву, платьем вытерла волосы, облепившие ее голову, потом, шагнув к Люсьену, обтерла его. Смущения больше не было, друг на друга они смотрели так, словно в ее комнате сидели за столом. Она встала на четвереньки; покачивая ее бедра, он медленно потянул ее к себе, словно хотел, чтобы жаркая пещера сама отыскала прохладный сталагмит; промазав, она вновь его позвала, и тогда он проник в ее неизведанные тепло и нежность.

Сколько раз в совместно прочитанных книгах

они замечали, но обходили смущенным молчанием тайные знаки неизбежной любви. За все время он прикоснулся к ней считаные разы: однажды неловко взял за плечи, потом вцепился в нее, когда она вытаскивала из его глаза осколок, да еще, потянувшись через стол, ладонями накрыл ее руки. Они словно знали, как все будет: они сольются отражениями друг друга, и в опасливой стыдливости она откроет ему свои сокрытые от других тайны. Свидетелем тому была лампа в траве. Теперь Мари-Ньеж оседлала его, чтобы самой задать ритм, чтобы он еще глубже в нее проник, чтобы руки его ощутили трепет ее тела, чтобы они уравнялись в наслаждении. Оба не слышали ни бесплодного ворчанья грома, ни посвиста пересмешника, ни беспечного жужжанья миллиона букашек. Но только дыханье друг друга, будто рядышком умирали.

Возвращение

О Люсьене в последний год войны мало что известно. Он вновь растворился в безликой плоти перемещающихся войск и полевых госпиталей. В последние месяцы боев его часть стояла под Компьенем, и там к нему пробилось письмо от Мари-Ньеж. Кто знает, сколько писем она написала? Но Люсьен посчитал его первым после их встречи в его побывку. Мари-Ньеж сообщала, что недавно виделась с мужем и они по-прежнему близки, чему она очень рада. Роман оставался все тем же медведем, и она боялась, что он, не дай бог, угодит под трибунал.

Почему-то Люсьен не ответил. Может быть, он все высказал в тех письмах, что сочинял к солдатским женам и возлюбленным, и у него уже не осталось запаса для искреннего сочувствия. Он больше не верил словам. Жене он коротко писал о моральном духе фронтовиков и опасностях, связанных с окончанием войны.

Семья его временно обитала у жениных родичей под Парижем. В Марсейяне было неспокойно — окрестности осаждали болезни, наемники и дезертиры. В конце войны ничего другого ждать не

приходилось. Повсюду нищета и нужда толкали народ на преступления. Люсьен понятия не имел, как живет его семья. Он фиксировал то, что его окружало, ежедневно видя гибель людей и даже самоубийства. Священники забывали имена тех, кого отпевали. Люсьен сам молился над умирающими, в ответ получая гадливые взгляды. Думать о Мари-Ньеж было некогда. Перед побывкой он сотни раз вновь пережил то, что их связывало. Теперь приходилось думать о себе, постоянно быть начеку. Однажды ночью кто-то пытался его задушить — даже не враг, а свой.

Война закончилась; военнослужащим выдали проездные требования, но уведомили, что весь транспорт еле-еле ходит. Дорога домой грозила растянуться бог знает на сколько. Глянув на карту, Люсьен сообразил, что в Марсейян может добраться верхом, а уж потом, проверив дом, поездом ехать в Париж для воссоединения с семьей. Чтобы скорее покинуть прифронтовую зону, он стал искать лошадь и в конце концов сторговал одра, который с виду обещал выдержать день пути. Люсьен надеялся, что вдали от передовой купит другого коня. К седлу он приторочил лишь свои отчеты, бросив одежду, справочники и все другие вещи. Одежда найдется дома, где перед

Парижем можно помыться и сбрить бороду.

Как и планировал, в Монтаржи Люсьен купил новую лошадь. Если повезет, дня через три-четыре он будет в Марсейяне.

Погода стояла солнечная, но зябкая, и Люсьен мерз в той одежде, что взял с собой. Из мешковины, которую отыскал на заброшенном подворье, он соорудил подобие накидки. Конь, оказавшийся хворым, плелся неспешным шагом. Люсьен терял ощущение реальности. К вечеру второго дня он беспрестанно проваливался в дрему и, очнувшись, не понимал, где находится. Потом на пару часов отключился совсем. Проснувшись на луковом поле, он выкопал несколько луковиц; одну съел, другие припрятал во вьючный короб.

В Фижаке залпом выпил крынку молока, купленную у крестьянина. Дороги были совершенно безлюдны. Раз встретился верховой с собакой на руках. Человек ни слова не сказал и даже не взглянул на Люсьена. Наверное, тоже опасался бандитов. Надо было дождаться воинского эшелона, подумал Люсьен.

На другой вечер крепко похолодало, его трясло, как в дифтерите. Лишь парное облачко изо рта подтверждало, что он еще жив. Наверное, это будет последним, что он увидит. Очнувшись в

непроглядной тьме, Люсьен чиркнул спичкой, чтобы глянуть на часы и проверить облачко. Рядом неподвижно лежала лошадь. Закрапал дождь, и Люсьен сдался — то ли уснул, то ли соскользнул в обморок.

Закоченев на стылой земле, утром он еле встал. Лошадь, как ни в чем ни бывало щипавшая травку, медленно подняла голову. С час Люсьен вел коня в поводу, прежде чем собрался с силами его оседлать. Шел четвертый или пятый день пути; опасаясь встречи с незнакомцами, Люсьен по краю огибал рощи. Хотя что с него взять? Мысль об отчетах вывела его из оцепенения. При нем кое-что важнее его самого.

Давно стемнело, когда Люсьен достиг Марсейяна. Остались последние десять километров. Дома вряд ли найдется еда, кроме консервов и сухарей, но там хотя бы можно вымыться и поспать. Что если Мари-Ньеж никуда не уехала? Неизвестно, дома ли Роман и жив ли он вообще. Лошадь обессилела; Люсьен спешился, стараясь ходьбой разогреться. Накидка пропиталась сыростью. Он понимал, что с головой у него непорядок. Вдруг чудилось, что дома его встретит мать. Потом он вспоминал, что ее нет, и тогда казалось, что навстречу ему выйдет ее тихий призрак. Мать

его приветит, накормит и уложит спать. Будет гореть очаг.

Дом тонул во тьме. Вокруг ни лунного отблеска, ни звездочки, ни огонька. Отпустив лошадь, Люсьен замер. Потом ступил на крыльцо, ощупью вошел в дом и светом его разбудил. Проходя по комнатам, он вслух говорил с собой и окликал домашних. Скинул дерюжную накидку и посмотрелся в зеркало. Уже давно он не видел своего отражения. Одежда его казалась несоразмерно большой. Люсьен глянул в окно — у соседей темно. Значит, тоже уехали. Чернел склон холма. Огонь лампы или свечи был бы заметен.

В темноте Люсьен отвел лошадь в конюшню и задал ей корма. Возвращаясь в дом, он вдруг учуял слабый запах дыма. Может, с дальних полей его принес в кармане ветер? Или капли дождя, вколотившие его в траву? Однако хотелось удостовериться, что соседи уехали. Как ни крути, он вернулся домой, но в последние дни пути и в поселке не видел ни единой души. Даже матушкин призрак его не встретил. Оставив в комнатах свет, Люсьен поднялся на холм, черневший в темноте.

В сарае не было ни повозки, ни лошади. Люсьен стукнул в дверь дома, но ответа не дождался. Откинув щеколду, он осторожно прошел внутрь

и уперся в стол. Знакомец. Люсьен помнил въевшуюся синюю краску. В юности за этим столом он часто играл в карты или беседовал.

Куда же соседи могли уехать? Люсьен их окликнул — сначала Романа, потом Мари-Ньеж, хотя в жизни редко обращался к ней по имени. Для их отношений оно казалось слишком формальным. Даже такое простое красивое имя. Почудилось, мяукнула кошка. Люсьен пошарил на полке, где обычно хранились свечи. Слабый огонек выхватил из тьмы кривые стены. Вновь послышалось мяуканье; Люсьен отдернул занавеску, разделявшую кухню и спальню. Под черным одеялом она лежала точно покойница, лишь голова ее моталась из стороны в сторону. Потом она содрогнулась в конвульсии, а из груди ее вырвался стон, похожий на мяуканье. Она была одна в темном нетопленом доме. Люсьен коснулся ее лба — как мышь мокрая. Малярия.

Мари-Ньеж, шепотом позвал он, словно не хотел никого беспокоить и был вынужден ее разбудить, но так, чтобы спросонья она не испугалась. Где Роман?

Ответом был лишь чуть слышный вздох. Взгляд ее косил в сторону, словно она хотела подать какой-то знак, на что-то показать.

Всю дорогу домой Люсьен мечтал о том, как расскажет ей о событиях в последние месяцы боев, когда она жила в его душе. Не терпелось излиться перед ней. Если она одна, может быть, они рядом уснут. Но теперь все иначе. Она больна и нуждается в его заботе. Он стал рассказывать о том, как в палатке метался в горячечном бреду, и спасли его лишь воспоминания о ней. На мгновенье взгляд Мари-Ньеж замер, но потом ее так тряхнуло, что голова подпрыгнула на подушке; тяжело дыша, в полном изнеможении она прикрыла глаза. Вспомнились одышливые фронтовые лошади, которых из-за нехватки кальция корежили судороги.

Я тебя спасла? — еле слышно спросила она, будто обращаясь к видению.

Да. Лишь ты одна приходила в мою холодную палатку.

Люсьен укрепил свечку на полу и пощупал лоб Мари-Ньеж. Вся в испарине. Он медленно пропустил сквозь пальцы ее взмокшие волосы, потом еще раз и еще, чувствуя, что ласка ей приятна.

Теперь свеча больше освещала низкий потолок, Мари-Ньеж читалась контуром. Поблескивала ее влажная скула. Опережая новый приступ судорог, Люсьен обхватил ее за плечи. Отмаявшись,

она упала навзничь, словно истукан. Похоже, смирилась с вероятностью смерти. Она была в забытьи. В кухне Люсьен зажег еще одну свечку.

— Она с нами, — над ухом шепнула мать.

Куски старого картона Люсьен пустил на растопку. Рядом с печкой лежала горка поленьев, подернутых паутиной. Он развел огонь. Где же Роман? Выстуженные камни стен и пола говорили, что дом давно не топлен.

— Роман? — позвала Мари-Ньеж, разбуженная треском занимавшихся поленьев.

Люсьен подошел к ней и одеялом отер ее лицо.

— Это я, Люсьен. Дай-ка я тебе перестелю, все промокло.

— Пускай…

В шкафу он нашел фланелевую простыню. Тоже знакомая. Когда-то мать отдала ее Мари-Ньеж. Люсьен накинул простыню на стул, который придвинул к печке.

Потом открыл банку с супом, поставил ее на плиту и взял нагревшуюся простыню. Он стянул грубое одеяло, и Мари-Ньеж глубоко вздохнула, словно избавилась от тяжкого бремени, но тотчас согнулась пополам, заходясь судорожным кашлем. Тощая как шпилька. Сердце кровью обливалось от вида ее бледной груди, перечерк-

нутой тенями ребер. Люсьен обернул ее согретой простыней и укутал в одеяло. Затем с ложечки покормил супом. Она жадно глотала.

Роман…

Нет, я Люсьен.

Люсьен… — выговорила она, словно в танце растерянно меняла партнера.

Да. Где Роман?

Но она уже вновь нырнула в забытье.

Кажется, он заснул в кресле. Потом очнулся, но ее не увидел. Почудилось, будто на его плече лежит чья-то рука. Мигнула свеча, и он разглядел ее лицо на подушке. Взгляд ее о чем-то просил. *Пожалуйста, друг. Вынеси меня. Понимаешь?* Она прикрыла глаза, словно устала кричать через толстое стекло. Он ее не понимал. Но она вновь взывала о помощи, чего-то хотела. *Понима…* Вдруг он понял. Вот же болван. Он закутал ее в одеяло, взял на руки и, пинком распахнув дверь, вынес в ночной холод. Было темно, но он знал, где стоит маленький дощатый нужник.

— Спасибо, — шептала она. — Спасибо, Роман.

Он помог ей сесть и сам примостился рядом, поддерживая ее. Через минуту она пихнула его локтем. Все в порядке? Она кивнула, слабо улыбаясь. Он вновь осторожно, словно ломкую

ветку, взял ее на руки и отнес в постель. Она уже спокойно спала; он задернул занавеску, чтобы рассвет ее не обеспокоил.

Утром он увидел перед собой выскобленные доски с въевшейся синей краской — историю их жизней. В миг перехода от глубоко сна к яви Люсьен вспомнил, где он.

Он откинулся на стуле. Свет из окошка падал на пол под слоем пыли. Люсьен подошел к печке и осторожно ее потрогал — холодная. Сковорода с окаменевшими объедками. Люсьен замер. Вокруг все было так неподвижно, словно он не существовал. Мертвая тишина. Люсьен глянул под ноги, потом вытянул перед собой руки, удостоверяясь, что он живой.

Он жаждал услышать покашливание, скрип кровати. Люсьен подошел к занавеске, разделявшей комнату, и глянул на выцветший узор — река и деревья казались иным измерением, в которое он вот-вот шагнет. Он затаил дыхание. Потом отдернул занавеску и никого не увидел.

Попрощайся

В полицейском участке он понял, что согревал и обихаживал осколок памяти, луч в душе. Мари-Ньеж умерла незадолго до конца войны. В тюремных списках Роман не значился. Его призвали в солдаты, но, даже если выжил, в Марсейян он вряд ли вернется. Люсьен побрел обратно. Один. Соседей нет. Их дом пуст. Ночь он провел в домишке Романа и Мари-Ньеж. Посидел за их столом. Потом в Марсейяне кому-то отдал лошадь, сел в парижский поезд и привез семью домой.

Люсьен Сегура завершил отчет о работе в воинских лагерях и полевых госпиталях, поведав о том, что видел. Ознакомившись с первой главой, отчет положили на полку. Почти никто его не прочел. Сей труд вызывал недоумение. Что, автор сложных, великолепно отлаженных стихов переметнулся к холодному расчету вендетты? Это произведение раздражало парижскую литературную публику, ожидавшую новых поэтических книжиц. Но стихи потребовали бы отдать себя всего без остатка.

Роман не вернулся. В его доме Люсьен устроил

свой рабочий кабинет, переехав из мастерской отчима. Он вновь стал писать и всякий раз (обычно в середине книги, когда уже определялись сюжет и место действия) ждал ее появления. В повествование она входила как возлюбленная, иногда как сестра. Вот так он проводил время с Мари-Ньеж, представавшей то союзницей в дворцовых интригах, то крестьянкой, безвестной спасительницей главного героя. Она была потерянным близнецом, воровкой, которая, скрываясь под личиной циркачки, грабила замки Бордо, и в которую влюблялся центральный персонаж, проводником слепого отца, коего требовалось увести из чужого города.

Иногда любовь погибала или была неразделенной. Но чаще читателей ждал счастливый конец. Свои истории Люсьен отправил в маленькое тулузское издательство, которому их публикация принесла грандиозный успех. Главные герои стали невероятно популярны, тем более что никто не слышал о писателе по фамилии Гаронна. Люсьен не разглашал свое авторство, что было сродни тому, как в детстве он тайком мечтал в окружении своих истинных наперсников — рощ, чащоб и рек. Никто не мог и помыслить, что эти книги вышли из-под пера знаменитого поэта

и автора горестного плача по недавней, но уже забытой войне.

Герой приключений был то нелюдим, то душа нараспашку, иногда осторожен, а порой безрассуден. Протыкая шпагой негодяя, он цедил: «Попрощайся». Встретив эту реплику, читатели знали, что в следующем абзаце злодея ждет неминучая смерть. Это был сигнал к апофеозу: умертвив графа де Гиспеля, Роман приколачивал к величавым дубовым дверям Французской академии листовку с объяснением своих мотивов и со второго этажа прыгал в поджидавший его воз с сеном, на козлах которого сидела Матильда, или Меликанта, или Мари-Ньеж.

Роман был непостоянен: то весел с возлюбленной и мрачен с врагами, то блистал остроумием перед врагом и дулся на возлюбленную. Похоже, сам автор не вполне его понимал, и оттого никто, даже сподвижники, не знал, чего от него ждать. Веком позже в этом увидели бы маниакально-депрессивный синдром, но в современной ему Франции он был избавлен от подобного диагноза. Часто он впадал в депрессию или ярость, но редко проявлял свое состояние перед жертвой (кое-кто считал это нечестным), которая даже не подозревала, что за ней идет охота. В последней трети

книги рушилось финансовое благополучие злодея, против него восставали союзники, но граф де Порселен оставался в неведении, какое из злодеяний привело его к краху: опрометчивые потуги на «право первой ночи», изгнание бедного семейства или финансовые махинации с лионским издательством, в результате которого все разорились, кроме него самого. Тактика немой ярости вынуждала Романа в последнем акте возмездия приколачивать листовки с разъяснениями, прежде чем в конце каждого приключения вместе с Мари-Ньеж и закадычным другом Жаком (об этом члене главного трио чуть позже) ускакать прочь.

Романами «Пес в Гартемпе»[78] и «Желтое платье» зачитывалась вся Франция. Однако никто, даже близкие, не подозревал, что Люсьен Сегура и автор историй о Романе связаны друг с другом через шлюху-популярность, которая великолепно знает хитросплетения издательского мира и способна ублажить всех разом. Бывало, в поединке рубака Роман цитировал Верлена или Пьера Ле Кра — иногда насмешливо, но чаще уважительно. Прогуливаясь по знаменитой Мюнхенской художественной галерее, он поглаживал

---

[78] Примечания: 78
Гартемп — река во Франции.

холсты и напевал арию Дона Оттавио «К милой невесте».[79] И потому читатели, ждавшие от него фехтовального искусства, возвышенных чувств и морального отмщения, впитывали еще кое-что. Вероятно, странная одержимость искусством и поэзией объяснялась тем, что Роман был неграмотен. Стихов и песен он поднабрался от своего никчемного дружка Одноглазого Жака, вольнодумца и распутника, который перевязывал его рубленую рану (если Мари-Ньеж куда-то отлучилась) и тоже был искусен в маскировке: проникал во вражеский стан под видом придурковатого дофина, а то и зажиточной графини. В романах часто встречались сцены, в которых, сидя у костра, Жак и Роман спорили о бедности, чужеземных войнах, «черных картинах» Гойи, инцесте, торговле детьми, бальзаковском Вотрене и парижской банковской системе. Их приключения всегда были созвучны актуальным событиям.

Так все и шло до последней книги, в которой Роман совершает подвиги в Бретани, а тем временем Мари-Ньеж, сраженная эпидемией, умирает, но в ее последние часы рядом с ней только Жак.

---

[79] Примечания: 79
Ария Дона Оттавио из оперы «Дон Жуан» Моцарта.

В деревенском доме он находит ее одну, охваченную лихорадкой. Она чуть дышит, в бреду постоянно зовет Романа. Хриплым шепотом она просит вызвать любимого, и старому доброму Жаку не остается ничего иного, как ее обмануть. Он ее баюкает, меняет промокшие от пота простыни, с ложечки кормит. Мари-Ньеж впадает в забытье, и тогда Жак облачается в одежду Романа, обрезает и темнит свои длинные волосы. Затем шумно входит в комнату и, подражая голосу Романа, будит несчастную; в мороке той кажется, что она видит любимого. Мари-Ньеж просит его лечь рядом, и старый кретин, для которого нет никого дороже этих двух людей, забирается в постель к деревенской королеве, с кем долгие годы был неразлучен во всех авантюрах. В первых книгах, таких как «Девушка на лошади» и «Вздох баптистки», на бивуаках, разбитых на берегах Ардеша и Луары, он спал по одну сторону костра, а Мари-Ньеж и Роман — по другую.

Она что-то шепчет, гладит его волосы, вглядывается в его утомленное, ласковое лицо. В полутьме оно кажется ей ликом Богородицы. Он шепчет в ответ, вспоминая былые времена, когда солнечным полднем они втроем ехали через дубраву, и шелест ветвей был подобен дождю,

он вспоминает купанье в реке, говорит о своей любви… Вот так он сопровождает ее в вечный сон. Он целует ее в губы и всю ночь лежит рядом с ней. В первых крупицах рассвета он видит, что лицо ее застыло, точно на портрете, — горячка ее сожрала и покинула ее душу. Губы ее в белом налете, которого прежде он не заметил. В комнате стало светлее; он разжимает ее рот и видит язык в белых крапинах язв. Дифтерит вымел округу, убивая детей и тех, кто за ними ухаживал. Из Бретани возвращается Роман, которого ждет безысходная истина: хворь уничтожила двух самых дорогих ему людей. Убийцей стала не война, не жажда денег или власти, от чего легко прогнить, но маленькая горловая пленка.

Читатели были ошарашены таким завершением приключений Романа, судьба которого осталась неизвестной. Он сгинул с последних страниц «Белизны», когда Люсьен поставил точку, сидя за соседским столом. Семь приключений Романа закончились. В этих историях Люсьен рассказал все, что знал и помнил о Мари-Ньеж: как скрипит ее тачка, как она разжигает очаг, как зевает, как поведала о заросшей чертополохом канаве. Теперь она была в нем.

Люсьен открыл новый счет на скромную сумму.

Взял кое-какие тетради, забрался в повозку, очень похожую на ту, в какой на корридах Вик-Фезанса-ка мать искала его пропавшего отца, и исчез, не имея в кармане даже горчичного зерна. Писать он больше не будет.

Полгода спустя он использовал одну тетрадь, чтобы вести счет карточной игры с мальчиком по имени Рафаэль. В архиве библиотеки Беркли сохранились три его тетради (одна чистая). В них детской рукой начерчен план посадок в огороде. «Вы садовник?» — некогда спросил предсказатель. Еще есть схема усадьбы, на которой изображены дом, озерцо и платановая аллея. Другой рукой сделан рисунок гнезда для насекомых, сооруженного из кукурузного початка.

Однажды, когда они сидели в последнем саду Люсьена, мальчик обмолвился, что читает приключения Романа, но старик промолчал. Потом взял у него книгу, интересуясь, что сын Астольфа использует как закладку, и сказал, что слышал о повествователе отмщений и побегов, любви и приключений, но романов его не читал.

«Искусство дано нам для того, — говорит Ницше, — чтобы мы не погибли от правды». Безжалостная правда случая нескончаема, история моей связи с Купом и жизненные мытарства

моей сестры для меня бесконечны. Каждый раз, когда глубокой ночью вдруг зазвонит телефон, я хватаю трубку и жду, что сквозь шорохи и писки, предполагающие трансатлантический вызов, услышу тяжелый вздох, после которого объявится Клэр. Для нее я буду почти незнакомкой, образом с фотографии.

Каждый вечер перед ужином отец совершал обход нашей фермы, заканчивая его на дальнем холме: выйдя из тени деревьев, в закатных лучах он спускался к дому. Он не знал, что за ним всегда подглядывают трое ребятишек. Однажды позади него выскочила и зашныряла по краю подлеска лисица; отец, неторопливо шагавший с холма, ее не видел. Клэр первой заметила лису и пихнула нас с Купом. Зверек пружинисто метался взад-вперед, изредка поглядывая на человека. Отец что-то почувствовал и остановился. Оглянувшись, он стал медленно пятиться, не спуская глаз с лисицы, которая, словно в насмешку, шастала туда-сюда, туда-сюда, постоянно меняя курсы.

Калитка памяти открывается в обе стороны, отзвук эха летит повсюду. Время можно закольцевать. Ночью нас преследуют абзац или сцена из другой эпохи, слова незнакомца. Громкие хлопки разноцветного флага переносят меня в тот вне-

запный буран. А сложенная карта перемещает в иные края. Повсюду я вижу Купа, сестру и отца (я их представляю *повсюду*), как и они, наверное, тревожатся, что меня нет рядом. Не знаю. Мы связаны тоской по тому, что не случилось.

Жаркий день, Люсьен Сегура и Рафаэль последний раз вместе. Мальчик приносит хлеб. Разломав буханку, они съедают ее с луковицей или какой-то зеленью. Если чувствует жажду, Люсьен пьет из озерца, горстью зачерпывая воду. Вот таким я его помню, говорит Рафаэль.

Наверное, Люсьен спустился в выемку, некогда бывшую прудом, и сел за синий стол — единственные предмет мебели, который он взял из Марсейяна. Как-то раз, сочиняя жаркий поединок на шпагах, он вдруг задумался о размерах стола, за которым работал. Измерение проводилось рукой. Две длины от локтя до кончиков пальцев и еще две — от запястья до пальцев. Выходило, длина стола чуть больше метра. Ширина — около метра. Две сосновые доски, между ними узкая щелка. Во время работы стол выпадал из поля зрения, лишь кусочек крышки маячил под тетрадью. В нем, сколоченном шестью гвоздями, нравились и цвет, и удобная высота; он — словно зеркало, в котором отыщешь то, что нужно. Неизменный

товарищ.

Астольфов мальчишка сидит напротив и скалится, жадный до всего на свете. Наверное, в юности Люсьен был таким же. Точно поджарая расчесанная гончая, что, полная надежд, свесила язык и жарко дышит. Мальчишка являлся даже в дождь. Из окна спальни Люсьен видел, как под кроной дуба он прячется от струй. Любопытно, чем ему запомнятся их полуденные встречи? Карточными играми или обрывочными размышлениями старика, похожими на недосказанные тайны? Или тем, как он добродушно жмурится, рукой затеняя здоровый глаз от безжалостного солнца? Хоть осколком останется он в мальчишеской памяти?

Вот Рафаэль приближается, но затем сворачивает к огороду.

Нет, иди сюда, зовет старик. Мальчик садится напротив. Воспоминания исчезают в стиснутом кулаке Люсьена.

Потом даже эти друзья его покинули.

С двумя лошадьми, которых на что-то выменял, отец Рафаэля неспешно шагал по платановой аллее. (Вообще-то, предметом торга стал один из павлинов Люсьена Сегуры, на которых давно заглядывался соседний фермер. Пропажу пти-

цы, непредсказуемой в своих скитаниях, еще не обнаружили — может, решила прогуляться за теплой послегрозовой волной. Старый ворюга полагал, что лишение владельца его рыбины, дичи и еще не прирученной собаки — вовсе не кража, поскольку живность, даже будучи далеко увезенной, всегда имеет шанс самостоятельно вернуться домой.) Папаша прошагал мимо увитой сумахом усадьбы, беспечно насвистывая, тогда как в четыре утра покидал ее иначе — тайком, пряча под длинным пальто сопротивляющегося павлина размером с теленка.

Люсьен наблюдал за его возвращением, однако о планах на новое приобретение, согласно кивавшее головами, спросил лишь следующим полднем, когда семейство в лодке переправилось через озерцо. Хотим маленько пожить на севере, был ответ. Дальнейших объяснений не последовало, а Люсьен не стал расспрашивать. Может, на севере лучше коммерция, а может, Астольф хотел укрыться от молвы о своем пребывании в округе. «Маленько» — иного о сроке своей отлучки они сказать не пожелали. Ошеломляюще скоро — через день-другой — их фургон прогромыхал по дорожке перед домом и скрылся за деревьями аллеи. Светало; в узкой кровати Люсьен прислу-

шивался к глухому звяканью скарба в повозке и звонкому голосу Арии, говорившей с сыном. Минут через десять он вышел на крыльцо и уловил слабый душок табачного дыма, зацепившийся за шершавую кладку дома.

Теперь он в одиночку пробирался сквозь ночи то с полной, то ущербной луной и нескончаемую зиму. Огород спал под снегом, виднелись только хилая ограда и матерчатый шалаш, в котором летом хранили садовый инвентарь. Однажды, ступая по смерзшимся грядкам, Люсьен вошел в его наполненную светом пустоту. Огород был царством Арии. Спозаранку, в медленно поднимавшемся тумане она, стоя на коленях, собирала с влажной от ночного дождя земли улиток и палую листву. Казалось, она, точно неистовый верующий, провела там всю ночь, ожидая, когда рассеются тьма и белесая мгла, в которой маячила ее зеленая шаль.

После стольких лет, после всех перемен и бегств он оставался все тем же Люсьеном Сегурой. В нем было больше от прежнего мальчика, нежели от отца семейства. Вопреки всему, отеческая роль ему не годилась. И сейчас, в хлипком шалаше укрывшись от февральской метели, заносившей грядки, в которых спали, но по весне оживут

луковки и семена, он понял, что изжил свою жизнь. Покинув владения Арии, он пошел к дому, оставляя одинокую строчку следов; не было даже павлинов, чьи теплые трехпалые лапы пометили бы снег зелеными проталинками.

Меж деревьев искрится озерцо. Наконец-то поймав рукав кофты, Люсьен шагает в тень дубов. Без Рафаэля жизнь кажется ненастоящей. Мальчика шибко не хватает. Они осторожно делились друг с другом. Люсьен приоткрыл почти приемышу кусочки своей жизни, а тот поведал о солнечном затмении под Плезансом, когда ветер был ужаснее тьмы. Сейчас Люсьен жаждет бури.

В юности его потрясла картина Ильи Репина «Иван Грозный и сын его Иван». Запомнилась на всю жизнь. Старый деспот баюкает окровавленного сына, которого ненароком убил, взгляд его полыхает безумием, все вокруг окутано будущим мраком. Через неделю в другом городе новое потрясение, новый кошмар — Петр I допрашивает царевича Алексея, глаза императора горят убежденностью в вине сына.

Люсьен так и не узнает, что сталось с его детьми. Он их взлелеял или изуродовал? Девочка, онемевшая то ли от страха, то ли от собственной храбрости, в рефрижераторе пересекает Кали-

форнийскую долину, впитывая каждое слово доброго незнакомца. В Париже Люсетт с любовником накачиваются абсентом. Малыш Рафаэль встретит меня, женщину из Нового Света… А Куп? А Клэр? Станут ли они героями повествований об их собственной жизни в тех городах, куда их забросила судьба?

Недавно я прочла ошеломительную вещицу о безотцовщине. «И я надеюсь, что однажды в сумерках придет человек, который вдруг окажется моим отцом. В старой белой рубашке на каждый день, латаной, испачканной грязью и кровью, он появится в дверях или на тропинке из леса. Он молчит, чтобы словами ничего не нарушить, но знает то, чего не знаю я».[80]

О, эта вечная тоска по утешению, не буре.

Миновав аллею, Люсьен пересекает лужок и подходит к берегу озера, где к дереву привязана старая лодка. В свой первый день в Демю он споткнулся об нее в траве и принял за остов животного. Сейчас она зарылась в ил. По вечерам Рафаэль частенько греб на озере — просто так, от избытка энергии.

---

[80] Примечания: 80

Отрывок из книги бельгийского писателя Марка Тривье «Потерянный рай».

Люсьен вытаскивает лодку из ила и, сделав пару шагов в мутной воде, забирается на банку. Он гребет к дальнему берегу. Отбывает, глядя на дом. В щелястом днище плещется вода, лодка — плавучий скелет. В быстро спускающихся сумерках еще видны очертания дома. Люсьен хочет встать, чтобы четче его разглядеть, но в этот миг под ним с хрустом проламывается доска, будто кто-то перебил становой хребет рассудка и дороги в будущее. Взгляд его цепляется за последний пористый свет дня. Почти стемнело; над водой стремглав летают птицы, едва не касаясь крылом своего отражения.